

Автор
бестселлеров
«ПАТОЛОГИИ»
и «ОБИТЕЛЬ»

ЗАХАР ПРИЛЕПИН

НЕКОТОРЫЕ НЕ ПОПАДУТ В АД

роман-фантазмагория

*Кто-то романы
сочиняет —
а я там живу*

18+

Захар Прилепин. Live

Захар Прилепин
Некоторые не попадут в ад

«Издательство АСТ»

2019

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Прилепин З.

Некоторые не попадут в ад / З. Прилепин — «Издательство АСТ», 2019 — (Захар Прилепин. Live)

ISBN 978-5-17-115486-8

Захар Прилепин – прозаик, публицист, музыкант, обладатель премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна». Автор романов «Обитель», «Санья», «Патологии», «Чёрная обезьяна», сборников рассказов «Восьмёрка», «Грех», «Ботинки, полные горячей водкой» и «Семь жизней», сборников публицистики «К нам едет Пересвет», «Летучие бурлаки», «Не чужая смута», «Всё, что должно разрешиться. Письма с Донбасса», «Взвод». «И мысли не было сочинять эту книжку. Сорок раз себе пообещал: пусть всё отстоится, отлежится – что запомнится и не потеряется, то и будет самым главным. Сам себя обманул. Книжка сама рассказала, едва перо обмакнул в чернильницу. Известны случаи, когда врачи, не теряя сознания, руководили сложными операциями, которые им делали. Или записывали свои ощущения в момент укуса ядовитого гада, получения травмы. Здесь, прости господи, жанр в чём-то схожий. ...Куда делась из меня моя жизнь, моя вера, моя радость? У поэта ещё точнее: “Как страшно, ведь душа проходит, как молодость и как любовь”». Захар Прилепин

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-115486-8

© Прилепин З., 2019

© Издательство АСТ, 2019

Захар Прилепин

Некоторые не попадут в ад

© Прилепин З.

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

До Бати было – рукой подать. Мы соседствовали.

Казарму нашему свежесобранному разведовательно-штурмовому батальону определили поздней осенью. Местом расположения стала разворованная в хлам ледяная гостиница, носившая имя чешской столицы и торга.

Гостиница действительно была похожа на старый, подсохший, надрезанный торт.

Скульптура солдата Швейка – слева от стеклянных дверей – располагалась почему-то посреди клумбы: словно солдат, не успевавший вернуться в расположение по нужде, побежал отлить на травку – и окаменел, настигнутый окриком небесного дежурного.

Только сейчас вспомнил – скажу, пока не забыл, потом уже не до них будет: в батальоне служили две чеха, добровольцы. Один – огромный, бородатый, совершенно бандитского вида, приписанный к группе быстрого реагирования, еле по-русски говорил, я поначалу думал – чечен; но нет, мне сказали: чех. Комбат назначил его следить за порядком, потому что наша ГБР реагировала в основном на залётчиков внутри бата; так эта орясина была своих совершенно безжалостно. Другой – мелкий, молчаливый, немного, кажется, бестолковый. Я всё собирался, встретив их на улице, пошутить: ваш, мол? – кивая на Швейка и показывая тем самым, что в курсе их национальных героев.

Это было бы трогательно, накоротке, интернационально. Я бы себе нравился в эту минуту; хотя делал бы вид, что хочу нравиться им, чешским ополченцам. Они бы потом, годы спустя, на самом склоне отседевших и осыпающихся лет, рассказывали бы своим веснушчатым чешским внукам, заметив портрет Швейка в учебнике по литературе: «...а вот у нас был командир – знал Швейка, подмигивал: “...мол, ваш?” – да и сам командир что-то писал, стишки то ли прозу, фамилию только его забыл, на Ленина похожа...»

«Командир погиб, дедушка?»

«Да, внучок, мы все погибли, я тоже погиб».

Хотя чехи Швейка, кстати, не очень любят – считают пародией на себя.

Но глядя на этих двух – чеха-громилу и тихого чеха, – ничего хоть отдалённо напоминающего солдата Швейка ни в одном из них разглядеть не мог. Если пародия – то не похожая.

...Многие месяцы проползали как ночные поезда – вроде, шум был, но тьма ж вокруг, ничего толком не разглядишь, только тревога, запах мазута, плохой сон; теперь оглянулся и вижу: так и не выказал чехам свою осведомлённость, начитанность, а заодно человечность.

Два батальонных года был занят, как оценившаяся собака: метался, принохивался, что-то вечно тасил в зубах, бессмысленно глядя скисшими от натуги глазами себе под ноги.

Собственный батальон оказался зверской заботой.

Чехи не помню, когда появились; сразу их не было.

Большую часть батальона составили луганские ребята. Многие пришли из личного спецназа Плотницкого – луганского главы, похожего на внебрачного ребёнка северокорейского генерала и заведующей продмагом брежневских времён.

Луганских я мало знал; а костяк батальона был нацбольский – нацболов знал получше, я сам был в молодости хулиган, нацбол, размахивал красным знаменем и кричал «Смерть буржуям!».

(Буржуи делали вид, что не слышат команды; не умирали. Нацболов сажали за решётку и при смутных обстоятельствах умертвляли куда чаще.)

Остальных в наш бат мы добрали из осколков других донбасских подразделений, перебитых либо разогнанных. Получился красивый, разномастный букет, я держал его в охапке: пахло русским полем, по которому прошёл беспощадный табун, всё сжёг, всё вытоптал, лютики-мои-цветики, одолень-трава.

Не воевавших среди нас почти не было; может, три, может, два человека – случайных. Это уже потом, краем уха, я слышал разговоры, что попадают дурни, не умеющие разбирать автомат.

Но по большей части бойцы у нас служили духовитые, идейные; хотя многие, как положено ополченцу, беспутные – одна жена в Луганске, вторая в Ростове, третья на той, за линией разграничения, стороне, а вообще: пошли бы все эти бабы к чертям, надоели.

Ополченец, весело убегающий от перепутавшихся баб, – частый случай. Но без убеждённости в том, за что стреляешь, на одной распре с потенциальной вдовой, – много не навоюешь. Женщины были далёким фоном; на фон не оглядывались; о женщинах почти не говорили.

Россиян среди бойцов было мало: я, комбат – позывной Томич, командир разведки – Домовой, дюжина нацболов, казак Кубань с Кубани, несколько бывших ментов, и ещё два гэрэушника на подходе к пенсии, с позывными Касатур и Кит, – здоровенные мужики, один вроде русский, другой восточный (может, якут, может, башкир, – я на глаз не отличаю). У каждого из гэрэушников – по триста прыжков с парашютом. Зачем они пришли в ополчение, я так и не спросил; потом начштаба Араб просветил, что им вроде бы на работе (где? в ГРУ?!) сказали, что день за три пойдёт, если до пенсии дотянуть на донбасских фронтах. Забыл уточнить, правда ли это, – а то до сих пор кажется ерундой: чего они, со справкой отсюда туда поехали бы, в свой отдел кадров? – «Давайте пенсию, мы дослужили!»

Кит теперь не знаю где, а Касатура убили; спросить не у кого. Батальона тоже нет, гостиницы нет, республики той, в запомнившемся, как на лучшем фото, виде, нет. Швейк один стоит, ледяной.

...Но это сейчас, а тогда ещё всё было.

Помню день: оружия наспех испечённому батальону, хоть и причисленному уже к полку спецназа, – не выдали, формы тоже ещё не выдали; я заявился через неделю-другую после подписания приказа о создании нашего подразделения, заглянул в гостиницу, в смысле в казарму: по ней ходили серые от холода, тоскливые от голода мужики, смотрели волками, страдали от недокура – нет такого слова? – ну, пусть будет, очень нужное слово: когда человеку хочется курить, а он не накуривается, потому что нечем. Было бы чем – накурился бы.

Денег вообще ни у кого не имелось. До первой зарплаты оставалось три недели.

Меня никто в лицо не узнавал.

Я прошёлся по бывшим номерам гостиницы, – даже батареи смотрели так, словно хотели загрызть кого-нибудь и сами замёрзли больше людей.

На кроватях лежали бойцы, не открывавшие глаз и не шевелившиеся при нашем с комбатом появлении.

– Они мёртвые? – спросил я всерьёз. – Или муляжи?

– Устали, – ответил комбат. Он даже самые маленькие слова произносил быстро. Словно разгонялся, чтоб сразу сказать много слов, но они тут же кончались.

Промёрзшие занавески выглядели увесисто: в них можно было трупы заворачивать и бросать хоть в море, хоть в шахту, хоть в кратер – ничего трупу не будет: сохранится как новенький.

На подоконниках стояли пустые, примёрзшие банки из-под консервов, со вдавленными в них чинариками, докуренными до размера ноготка.

Кто-то из бойцов, ещё не заснувших до весны, смуро спросил у меня: «А нет покурить» – безо всякой надежды, без знака вопроса на конце фразы; я вытащил из кармана сторублёвку,

дал, – боец на полмига ошалел, но тут же собрался, хватанул купюру (я почувствовал пальцы подсохшего уопленника), спрятал в карман, пока никто не видел; но заприметили тут же ещё двое-трое стоявших в коридоре без движения: словно зависших в бесцветной паутине, – и когда первый вдоль стены пошёл-пошёл-пошёл (в Донецке на сторублёвку можно было купить четыре пачки чудовищных, табака лишённых, убивающих кентавра, сигарет) – эти двое-трое, спутавшиеся до неразличимости друг с другом, похожие на ходячих, зыбучих мертвецов, потянулись за ним.

Ещё одну сторублёвку у меня никто спросить не решился. Я выглядел пришлым, что-то проверяющим, явившимся из тёплого мира.

Форма на мне была отличная, непродуваемая, красивая: «Бундесвер»; в моём кармане лежали пачка сторублёвок, пачка тысячерублёвок, пачка пятитысячных. Я был обеспечен – но только до той степени, чтоб подобным образом рассовать по карманам купюры. Вообще же при мне была едва ли не четверть всей налички, заработанной к сорока годам.

Всю недвижимость – две квартиры, дачу и машину, – уезжая насовсем, я переписал на жену: ей нужнее; меня убьют, а они будут жить, повесят папин портрет на стену: семья.

Из признаков роскоши имелась только собственная машина: мой бодрый, непотопляемый «круизёр».

Когда эти – серые, ходячие, трое – вышли из расположения, они увидели на улице большой, чёрный, тогда почти совсем новый джип: номер – три пятёрки, а буквы – НАХ. Случайно такие номера попались, клянусь первой прочитанной книжкой.

Помимо моего «круизёра», на целый батальон к тому моменту приходилось всего две легковушки: ржавые, побитые, доживающие последнюю зиму. На одной из них возили комбата, Томича.

Короче, я посмотрел на всё это, отщипнул комбату половину одной из пачек, чтоб батальон хотя бы до первого построения дожил, и в тот же вечер снял себе дом.

Дом был нужен.

Помимо забот со свежеобразованным батальоном пристылых мертвецов, у меня имелось множество других дел; в казарме эти дела было не порешать. К тому же я собирался уговорить, уломать свою женщину, мать своих детей, приехать, наконец, ко мне, жить со мной: сколько можно одному мыкаться в этом прекрасном городе, пронизанном канонадой (ничего тут поэтического нет: стреляли каждый день).

Сделал звонок – прямо в секретариат Главы Донецкой народной республики: никем не признанной, но существующей страны, где я уже год на тот момент жил и служил, в которую верил как в свет собственного детства, как в отца, как в первую любовь, как в любимое стихотворение, как в молитву, которая помогла в страшный час...

...забыл, о чём речь.

А, сделал звонок. Да.

Говорю: дом хочу снять, надоело мыкаться по вашим ведомственным гостиницам, хочу обживаться, фикус перевезу из большой России.

Мне скинули номера; набрал первый же, попал на риэлтора.

Привычно удивился: война, а риэлторы всё равно существуют. Все мирные профессии в наличии, просто некоторые держатся в тени.

Риэлтор подъехал ко мне в кафе, – я там пил водку с каким-то знакомым офицером, полевым командиром, вёл разговор о том, где мне раздобыть оружия на целый батальон; тот хитрил, лукаво косился, но дал пару наводок.

Сел за руль; риэлтор показывал дорогу, я особенно не обращал внимания, куда еду; делал вид, что слушаю риэлтора, а сам думал: собрал ты, брат мой, под триста мужиков, теперь тебе их надо накормить, потом вооружить, потом сбить в единый, чёрт, коллектив, чтоб получились такие дружные ребята, которые идут и умирают как один, если есть на то подходящий приказ.

«Вот зачем ты это сделал?»

Отвлёк меня от этих мыслей гостевой домик, куда я сам себя каким-то кривым путём, по чёрным проулкам, привёз.

А что, три комнаты, чистенько. Шкафы, посуда, вешалки. Тумбочка. Широкая кровать.

Ну-ка, ещё раз на воздух выйду. Большой двор, во дворе большой стол, мангал, рядом кран с раковиной – можно мясо жарить, овощи мыть. Справа коттедж хозяев – но у них выход на другую сторону, так что, пообещали мне (обманули), видаться мы будем редко. Коттедж основательный: отлично зарабатывали люди до войны, – но теперь живёт одна хозяйка; «... проверяла пищевую продукцию всего Донбасса», – шепнул риэлтор; муж умер, а зять – бизнесмен – уехал в Киев.

Про зятя сама сказала. Даже с некоторым вызовом.

Уехал и уехал, всё равно.

Ещё раз осмотрелся. Забор высокий. По обе стороны от нас и на другой стороне улицы – такие же коттеджи, но, судя по всему, совсем пустые: ни одного огня.

Высоток вокруг нет, выискивать в ста окнах стрелка не придётся, и на том спасибо.

До центра, как я понял, пять минут. Просто прекрасно.

«До вас тут жил тренер английской футбольной команды», – докладывала мне хозяйка; но мне и без рекомендаций предыдущего жильца уже всё понравилось, к тому же – водка внутри, грамм триста, к тому же – я только вчера вернулся в Донецк из большой России, проехав полторы тысячи километров в один заход, к тому же – я спал часа два, к тому же – холод... В общем, говорю риэлтору: не поеду другие дома смотреть, тут останусь, спать лягу прямо сейчас, уходите.

Достал из кармана стремительно худеющую пачку с тысячерублёвыми, – он распахнул портфель, вывалил готовые бланки, – я поскорей, не читая, расписался, и тут же расплатился.

Хозяйка всё норовила что-то дорассказать – я говорю: завтра, завтра.

Лёг спать, форма у кровати, пистолет (ТТ, наградной, Захарченко вручил, за проявленное) на столике. Рядом с пистолетом – мобильный.

Где-то – кажется, в районе донецкого аэропорта – жутко громыхало; хотя, может, и не там – я всё равно не очень понимал, где, посреди Донецка, улёгся, какие мои координаты.

Мне было ужасно хорошо. Начиналась новая жизнь. Новая жизнь сулила новые открытия, новые встречи, смерть. Много всего.

В невидимом мне небе клокотала артиллерийская перестрелка.

Что за жизнь у меня, вообразить вчера было нельзя, – а сегодня в ней застрял, как дурак в болоте: так думал блаженно.

Сладко спалось.

Утром проснулся свежий, полный сил, довольный. Проспал восемь часов – по моим меркам это много. На улице – звук метлы.

Выпил чаю. Покурил один на кухне – наслаждение во всём теле не покидало меня.

Вышел на улицу. Там хозяйка ходит с метлой, что-то метёт то в одну сторону, то в другую. На самом деле – пытается на метле ко мне подъехать, хочет со мной поговорить, но ещё не знает, о чём.

Зато я знаю, что ни о чём не хочу.

Выбежала мелкая, омерзительная – какого-то гнусного окраса, как ожившая половая тряпка, – собачка, завизжала на меня. Хозяйка стала её зазывать к ноге. Имя собаки удивило: я бы так лебедь белую назвал. А она – эту визгливую тряпку.

Открыл ворота, выкатил машину на улочку, лживо переживая о собачке: как бы не задавить, – и только здесь заметил: вот так я заселился!

Слева, сто пятьдесят метров, – особняк, где живёт Батя: Александр Владимирович Захарченко, Глава Республики; а я его советник, солдат, офицер, товарищ.

Справа, двести метров, – бывшая гостиница «Прага», где определили расположение придуманному мной батальону.

И посредине живу я: меж Главой и батальоном.

Только спяну так можно было заселиться – наобум, наугад.

Многие местные министры, командиры, чиновники искали дом в том же районе, где я свой выхватил без проблем, – и никто ничего не нашёл. А они так хотели прибиться поближе к Главе.

Со мной всегда всё так. Само в руки падает.

Все были уверены, что Батя нарочно меня к себе подселил.

Пару раз рассказал любопытствующим реальную историю: про то, как напился, сделал один звонок риэлтору, заехал, спать хотел, ничего толком не посмотрел, даже названия улицы не спросил, расплатился и упал замертво... В ответ слушавшие меня, все как один, хитро, на хохляцкий манер, улыбались: ага, заливай нам, а то мы не знаем.

Не верили.

* * *

Называл его: Батя, Александр Владимирович, в зависимости от. И здесь буду так же. Ещё: Захарченко, командир, Глава.

...Мне позвонили, сказали: командир вернулся из Москвы, когда сможешь у него быть?

На улице начиналось лето, его последнее, а моё нет.

«На Алтае или у себя?» – спросил я; Алтаем называлась одна из его ставок.

«Дома, ждёт», – сказали мне.

«Пять минут», – ответил я.

Личка Главы, стоявшая на перекрёстке возле его дома, передала коллегам на дому: «Захар». Там помолчали несколько секунд, потом ответили бесстрастно: «Пусть заходит».

– Заходите, – сказали мне. А то я глухой и рации не слышу. С другой стороны, если охранник просто головой кивнул бы – мол, иди, – меня б это ещё больше выбесило: раскивался, словами скажи.

От перекрёстка – пятьдесят метров до его дома, вход через гараж. Там тоже охрана, смотрит на меня. Положено сдавать оружие, хотя я мог и не сдавать, мне разрешалось входить вооружённым к Главе; таких людей на всю республику было не более десяти, если не считать его собственной охраны. Но всё равно я сдавал пистолет – чтоб лишний раз не злить его личку. Им же не нравится, что я прусь к нему с оружием, – ну и зачем пацанам переживать?

– У себя? – спросил.

– В бане. В баню спускайся.

Тем более: что я буду в бане с пистолетом делать.

Ещё на подходе услышал его голос, и неподражаемый смех: заливается как ребёнок. Ей-богу, так только дети могут смеяться.

Батя был в тельняшке и в камуфляжных штанах. Курил, естественно: он курил не переставая.

Я попал как раз к началу его истории. Он прервал рассказ и поднялся мне навстречу, за ним Ташкент и Казак, ближайšie его товарищи; их обоих, между прочим, тоже звали Сашами.

Можно было б загадать: пусть его не убьют этим летом. Вдруг глупая примета хотя б один раз сработала. Но никому и в голову не могло прийти, что его убьют.

Захарченко затянулся и продолжил историю.

Пересказать могу только в общих чертах.

Поздним вечером, после всех положенных переговоров, Батя оказался в центре Москвы и загулял в компании одного генерала. Вышли покурить из кабака на улицу – и увидели одинокую лошадь.

Она задержалась на работе, шла домой.

Батя сообщил генералу, что может верхом произвести некий трюк, – какой именно, я забыл; мог бы соврать, но зачем. Генерал нисколько не сомневался в мастерстве Захарченко, но это уже не имело значения. Батя позвал лошадь. Лошадь подошла вдвоём с девушкой (оказывается, они шли вместе).

Ловко вспрыгнул, безупречно исполнил трюк. Редкие прохожие были обрадованы, узнав Главу воюющей республики; раздались аплодисменты. Лошадь сделала что-то вроде книксена.

Появились хозяева лошади. Их было несколько, кажется, четыре, и все они происходили с кавказских гор или предгорий. Быть может, им не понравилось, как используют их лошадь, быть может, какие-то ещё маловажные, ныне совершенно забытые и не подлежащие восстановлению в памяти вещи (в силу отсутствия этой памяти: в неё попало железо, и всё поломало).

Глава был с охранником. Генерал – один.

Люди с кавказских гор или предгорий обладают способностью увеличиваться в числе: кажется, только что их было четверо, но вот уже восемь – и все жестикулируют, у них сложная моторика пчёл, они оказываются сразу и везде, и в какой-то момент кто-то из них очень неожиданно делает подсечку и роняет тебя на пол, на асфальт, на камень. Глава не стал дожидаться подобного развития событий: оставаясь в седле, он врубился в рой, в родоплеменной строй, в самую гущу.

Одномоментно на ярко освещённой московской улице происходило множество событий.

Охранник Бати был профессионалом, и успешно справлялся с рядом спонтанных задач.

В свою очередь, генерал обладал мощным генеральским голосом, сбивавшим часть неожиданных собеседников с ног.

Глава продолжал топтать живую силу, лошадь была за него, но её всё-таки схватили под уздцы сразу восемью или уже двенадцатью загорелыми, волосатыми руками.

Руки решительно потянули вниз седока.

В тот миг у генерала нашёлся пистолет. Он его извлёк. Находка возымела действие. Все были удивлены и тронуты.

Воцарилась временная тишина.

Показалась полицейская машина.

Собравшиеся решили разобраться в казусе сами.

Когда полиция подъехала, уже началось братание.

Полиция посмотрела сквозь стекло и улыбнулась.

Генералу пришлось некоторое время держать пистолет за спиной.

Люди с кавказских гор или предгорий оказались добрыми, солнечными ребятами.

Всем сразу расхотелось прощаться.

Кавказские люди начали угощать своих новых друзей. Они это умеют.

Генерал раскрылся и зачем-то поведал, что пистолет у него был не заряжен. Всех это особенно развеселило. Генерал ходит с пустым магазином – смешно, если вдуматься.

Друзья пили, пускали шутихи, смешили лошадь.

Более всего из числа новых друзей Глава не хотел расставаться с лошадью, и под утро её приобрёл. По символической цене, на память о встрече.

Некоторая проблема заключалась в том, что Глава не мог лошадь взять в самолёт, а ему уже пришла пора улетать. Поэтому он приобрёл лошадь вместе с девушкой. Которая, впрочем, и сама не хотела расставаться со вверенным ей животным: они были как сёстры. Для девушки и лошади пришлось снять отдельный вагон в следующем на Ростов поезде.

Вернувшись в Донецк, Глава лёг спать часа на два, может, даже на четыре; но едва раскрыл глаза – подчинённые, будучи уверенными, что пришла шифровка, доложили Главе: лошадь в Ростове и ждёт приказа зайти в Донецкую народную республику.

Мы все смеялись, и Захарченко хохотал больше всех, откашливая остатки смеха, и снова заливаясь, как самый голубоглазый и лобастый ребёнок, которого щекочут.

Жизнь щекотала и веселила его.

В бане мы умеренно выпивали – по нашим меркам умеренно; иные сказали бы – без жалости к своим бранным телам, – но мы считали, что всё нормально. Пили на двоих, я и он: два других Саши категорически не употребляли.

Еда на столе всегда была сомнительной. Когда всё съедобное кончалось – а кончалось всё очень быстро, – Батя звал кого-то из лички и просил съездить на ближайшую заправку, купить какой-нибудь отравы – гамбургер, чизбургер; ужас, в общем.

В доме никогда не водилось никаких красных рыб, икры, мяса, колбас, – к пище насущной он относился спокойно; при доме Главы целого государства не было никого, кто занимался бы подобными вопросами.

Вообще, быт был обычный, мужицкий.

Пили всегда тоже что-то простое, из местного магазина. Редко, когда Глава коньяк подарочный привезёт – ну, и его выпьем. Потом всё равно на местную водку переходили.

Делали три-четыре захода в баню; потом один из Саш уезжал – позывной Ташкент (бывший танкист: в Ташкенте учился на танкиста), кум Главы, он же вице-премьер, он же министр налогов и сборов, он же глава оборонной промышленности республики, он же глава каких-то сельхозведомств, огромный мужичина. Ташкент мало того, что не пил, но и баню ценил не очень, – а близость дружеская и семейная позволяла ему спокойно отбыть, когда подходило личное время.

За полночь разговор становился серьёзней.

Глава вкратце рассказывал мне – то, что ушедшему куму, по совместительству вице-премьеру, наверняка уже раньше рассказал, – про иные, помимо лошади, результаты Москвы.

Встречался в Москве вот с этим – Глава называл одну фамилию, – и вот с тем, – называл другую. Я эти фамилии знал: их все в России знают, кто знает хоть что-то.

Самая главная российская фамилия не звучала.

Император с Захарченко так и не увиделся, ни разу.

Всё, что было между ними за четыре года войны, – один звонок. Короткий, менее минуты. Человек с той стороны незримого провода (с той стороны реальности) задал какой-то, не самый важный, но человеческий вопрос, – выслушав ответ, коротко сказал: «Работайте».

Всё свелось к этому слову. Можно было б его положить на мелодию и петь: в нём содержалась великая сила благословения.

Донбасские люди не могли иначе относиться к верховному, чем так, как относились: с замиранием сердца. От него в прямом смысле зависела их жизнь.

Они знали: если он отвернётся – их придут убить.

Сотрут в порошок, порошок сдуют со стола.

Но пока император на них смотрит, или хранит их образ даже на периферии зрения, – донбасские имеют терпкий, еле пульсирующий шанс однажды победить.

Боец с нашего батальона, позывной – Злой, сказал как-то про императора: «Вот бы его увидеть! Просто на него посмотреть! хотя бы минутку!» – я оглянулся по сторонам, оглядел бойцов, слышавших нас: нет, ни у кого и намёка на иронию не было на лице, хотя потешались эти грубые, смелые люди над чем угодно, над самым святым.

Но не над этим.

Глава, Батя, – был частью своего народа, и все общие иллюзии (и не иллюзии) – разделял.

Оттого его непонимание было таким болезненным, детским: если император столь велик – отчего он не расслышит то, что кричат отсюда?

Нет, даже не о войне – войну донецкие готовы были тащить и дальше, – зов был о другом.

Все годы донецкой герильи шла невидимая для большинства, но беспощадная давка: республика навоевала себе многое, от огромных заводов до копанок, и не желала делиться ни с кем – но от неё требовали, чтоб делилась.

Возвращаясь из Москвы, Захарченко из раза в раз матерился и закипал:

– ...я им говорю: предлагайте мне российского олигарха хотя бы! Что вы мне киевского навяливаете! У вас своих нет? К чёрту мне украинские?

Звучала обычная малороссийская фамилия – поначалу я на неё даже не реагировал; у одной известной актрисы была такая же: Гурченко, что ли, или как-то так. Этому, как его, «Гурченко» отдельные кремлёвские распорядители отчего-то желали передать, передарить то, за что здесь – умирали.

Не в тот раз, а в другой, раньше, Захарченко, словно вдруг разом утерявший надежду на справедливость в переговорах с империей, поднял на меня глаза – мы сидели за столом, вдвоём, в донецком ресторанчике, была ночь, – и попросил (никогда ни до этого, ни после ни о чём другом меня не просил):

– Заступись за нас?

* * *

Иногда по утрам мы с моей личкой завтракали в ресторане «Пушкин».

В личке попарно работали четыре бойца: Граф, Тайсон, Шаман, Злой; они менялись каждую неделю.

В республике ежемесячно случалось по два, по три покушения на первых, вторых, третьих лиц. Каждые два, три месяца покушение – удавалось; но не обо всех говорили.

Получали непонятно откуда явившуюся пулю, подрывались (возле казармы, по дороге к дому, в самом доме), пропадали, а потом находились в ближайшем палисаднике порезанными на куски самые разные персонажи: знаменитые командиры, порученцы по особым вопросам, даже после гибели не нуждавшиеся в огласке заезжие офицеры, просто близкие к Бате люди. Близких пропальывали осознанно.

И всё равно Донецк заново расслаблял маревной, умиротворяющей своей внешностью – опять и опять казалось, что всё плохое уже случилось... разве возможно в такое лето умереть. Ладно ещё осенью, зимой, ладно, пусть даже весной, – но летом-то?..

Возле ресторана, на углу, сидел молодой каменный Пушкин. «Как ты, брат Пушкин?» – «Да так как-то всё...»

Ресторан был отделан под старину. Официанты обращались к посетителям: «Сударь».

Мои бойцы поначалу прыскали со смеху и даже чуть краснели. «Э, сударь...» – начинали пихаться, едва официант отходил; по спине было видно, что он отлично всё слышит, – но персонал был вышколен и вида не подавал.

Напротив ресторана располагалась резиденция Главы – Алтай, а в том же здании, где «Пушкин», на верхних этажах работали какие-то министерства и ведомства, – поэтому на перекрёстке у ресторана постоянно дежурили многочисленные люди в форме, и на углу всегда стоял дорожный страж: проезд к ресторану был запрещён. Моей личке здесь можно было немного расслабиться, и поесть вместе со мной, а не только глазеть по сторонам.

В «Пушкине» едва ли не ежедневно сидели первый Саша, который Ташкент, и второй Саша – главный советник Александра Захарченко, позывной Казак: умница, очаровательный тип, три телефона на столе, все три гудят, звенят, переливаются, ни на один звонок не отвечает сразу же, кроме звонка Главы.

Заходил ещё один Саша – позывной Трамп, министр внутренней политики, тоже, как и Ташкент, вице-премьер.

И Ташкент, и Трамп были действующими офицерами и руководили собственными воинскими подразделениями.

Но все они заявлялись позже, а в полдень ресторан был почти всегда пуст.

Сегодня какая-то пара – с веранды их было видно через огромные стеклянные окна – расположилась внутри; скорее всего, жених и невеста обсуждали скорую свадьбу.

У Графа напарником был Тайсон. Граф был белокожий, молочный, деревенский. Тайсон – тёмный, смуглый, городской. Граф – большой, Тайсон – невысокий, сухощавый. Граф – ариец, наполовину немец, наполовину казак, Тайсон – вроде как сложного типа нацмен, хотя говорил, что украинец (но я подозревал – монгол).

Граф часто улыбался, но сам шутил редко. Шуток над собой не терпел.

Тайсон смеялся мало, но сам острил замечательно.

Они были не-разлей-вода-друзья; оба моложе меня на двадцать лет; но я не чувствовал ничего такого, не знаю, как они.

По дороге сюда я добывал какую-то ночную философическую тему, – они же работали, неотрывно глядя по сторонам: сидящий справа Граф отвечал односложно или кивал, Тайсон вообще помалкивал.

Они не расслаблялись.

Не так давно бойцы гоняли без меня на «круизёре» за хозяйственными покупками, – кто-то из мелкашки зарядил им прямо в лобовуху. Лобовуха не разбилась.

Мою машину все, кому надо, в Донецке знали: многие месяцы на одних номерах.

Это, кажется, был символический жест кого-то из местных: знай, мы тебя видим, и вместо мелкашки можем взять в руки что-то другое.

Едва ли они видели, когда стреляли, что за рулём не я, а Граф.

При желании можно было обнаружить другой смысл: эй, парень, понаехавший на Донбасс, мы тебе добра не хотим, но и зла не желаем: имей в виду, тебя могут убить, и уже скоро; поэтому – берегись.

Наконец, простейший вариант: выстрелил фрик или дурковатый пацан – не зная в кого, просто в чёрный джип; на чёрных джипах здесь всегда перемещалось начальство.

Бойцы вылетели тогда из зоны обстрела, повыскакивали из машины – но что там разглядишь... сто окон, сто балконов, много крыш – нажал человек на спусковой крючок, сбросил ствол, и сидит себе под подоконником, спиной к батарее, дальше радио слушает. Весна уже наступила: открытых окон было предостаточно, а форточек – тем более.

На стекле, с правой стороны, остались выщербленная вмятина и длинная красивая трещина от неё.

– Короче, Граф, – вспоминал я, – на чём мы остановились?..

Вчера мы гоняли туда-сюда кое-какие сомнительные максимы. Если первую половину жизни жить правильно, вторую можешь прожить как угодно. Если первую половину жизни жить неправильно, второй половины может не быть. Если первую половину жизни прожить правильно, то потом уже не хватит сноровки и желания жить неправильно. Если первую половину жизни прожить неправильно, правильно жить уже никто не научит.

Граф время от времени иллюстрировал верность или ложность этих утверждений – историей, случившейся с ним или вокруг него. Он поразительно прожил свою четверть века, но главное – за воспоминаниями Графа иной раз остро чувствовалось, что он различает рисунок судьбы: своей ли, нашей, неважно.

С Графом мы проговорили многие часы.

Тайсон изредка поглядывал на нас и улыбался. Если я переводил взгляд на него, он несколько раз кивал, в том смысле, что – понимаю, понимаю, понимаю.

Они находились в первой половине жизни и до второй могли не добраться. Я находился во второй, и пока не мог решить: если первую половину жизни я провёл, в целом, правильно – что делать теперь с оставшимся сроком?

Или это не моё дело?

На ближайший день имелись некоторые планы; не дальше.

Бойцы заказывали себе всё время одно и то же: солянку, жареную картошку или пельмени.

Я смеялся: когда вы ещё будете в ресторане, товарищи мои, тем более в таком дорогом! Смотрите, тут котлеты из щуки, жульены из белых грибов, расстегаи, гусаки под фруктовым соусом – а вам всё солянка да картошка.

Тайсон ещё раз брал меню, почти по слогам читал несколько названий, и бережно откладывал приятную на ощупь и виньетками украшенную книжицу обратно.

– Проверенные вещи надо есть, – рассудительно резюмировал он.

Граф посмеивался, но тоже предпочитал проверенное.

– Возьму? – спрашивал он, кивая на мои, привезённые из России, сигареты, изящные, с белым полупустым фильтром.

Он спрашивал это уже тысячу раз, я тысячу раз отвечал: «Конечно!» – но он никогда не брал сигареты без спроса.

Сам я в это время суток предпочитал чашку кофе (который, на самом деле, терпеть не могу), стакан свежавыжатого апельсинового пополам с грейпфрутовым и рюмку коньяка. Есть давно не хотел, только закусывал.

Они сметали заказанное. Смотрел на них, как на собственных детей.

Расплачивался, и мы усаживались в машину.

Официант – безупречные балетные движения, белые брюки, белая рубашка – собирал посуду с непроницаемым лицом. Он тоже когда-то служил в ополчении, я знал. Был грязный, контуженный, с ошалевшими глазами; теперь сменил ампулу; вот мельком, навскидку, судьба – для рассказа, для кинофильма по этому рассказу. Можно в этой точке остановиться, свернуть, и прожить целую чужую жизнь, пойдя боковой тропкой.

Но мы двигались дальше, дальше, под Горловку.

Очередные наши позиции были в районе Пантелеймоновки, через дорогу от этой деревушки. Мы называли своё месторасположение – Пантёха. Кто-то из бойцов вскоре давал всякому населённому пункту, куда нас бросало, цепкое прозвище: и оно приживалось насмерть. (Можно с лёгкостью метать слова, можно лепить из того, что наметал, поразительные штуки и жарить их на весёлом огне – желающим в угощение, но: «Пантёху» я всё равно не сумею.)

Попали туда так.

Подъехал Глава к воротам нашего гостевого домика, – стоит кортеж из трёх джипов, он в первом, за рулём; вызванный личкой, я выскочил за ворота, Глава кивнул: «Садись!»; сел позади, молчу, даже не гадая, куда мы, – не моё дело.

Закатились на передовую под Донецком.

Выгрузились под сползшим набок, покорёженным мостом, – Глава: «Здравия желаю!» – в ответ: «Здравия желаю, товарищ Главнокомандующий!» – и тут же, старший из местных, шёпотом ему на ухо: «Комкор на позициях!».

Батя сразу развеселился:

– Комко-о-о-ор? Самолично? Прежний комкор месяцами на позициях не появлялся. Ну-ка, пойдём к нему...

По пересечённой местности, сквозь изуродованный, обгорелый лесок, затем по длинным, изгибистым окопам поспешили к самому пятаку на передке.

Посвистывало: постреливали, – но так, по деревьям.

Сейчас расскажу про секрет, который давно не секрет.

Ополчение было разделено на две части: армейский корпус и гвардия Главы.

В ту половину, что подчинялась Главе, помимо прочих подразделов, входил полк спецназначения: его составной частью был наш разведывательно-штурмовой батальон.

Другой половиной, корпусом, командовал армейский генерал, явившийся из одной соседней северной страны.

Возможно, генерал был уже на пенсии, кто знает, кто знает.

Скажем, добрые люди посоветовали ему дослужить здесь, добрести к законному покою, креслу-качалке, собаке у кресла, соседским детям, подглядывающим за грозным дедом в щель забора, тяжеловесным и немного скучным мемуарам: всю правду не опишешь, постоянно не хватает яркого мазка кистью, сведённых счётов с одной штабной сукой, последнего смертного откровения.

Комкоры время от времени сменялись. На смену одному являлся другой, тоже, наверное, пенсионер – хотя по виду и не скажешь.

(На стороне нашего несчастного неприятеля была та же картина: целые этажи в их военных ведомствах заселяли спецы в погонах и без, – такие же пенсионеры, только англоязычные.)

Генерал сюда заявлялся, естественно, не один, но с компактной группой уполномоченных и управленцев (нужно добавлять, что пенсионеров, или уже запомнили?).

Принимали их поначалу с щемящим чувством.

В объявившихся вдруг русских местные вглядывались как разномастные сибирские партизаны, загнанные в непроходимую дебрь, в стройных конников Блюхера, Унгерна или Колчака.

Донецкие верили: русские советники – умные, от русских толк будет; у русских есть белый император, который смотрит на мир прозрачными глазами, и мир тоскует.

Потом чувство удивления прошло: оказалось, что кровь у редких пришлых тоже мокрая, что они пугаются, глупят, блядствуют. На одного толкового захавшего сюда офицера приходилось три залётных, которые там, на севере, всем надоели – и теперь были сосланы в донецкие степи, чтоб дома их не расстреливать.

Но, несмотря на обидные разочарования в некоторых из северян, каждый местный служивый по-прежнему знал, что самую большую думу думает про них комкор: мало кем виденный человек с огромными звёздами на погонах.

Встретить комкора было большой удачей, – но мы встретились.

У комкора не было никакой свиты. Сопровождал его один человек.

(Свиту может высмотреть снайпер с той стороны и опытным глазом вычислить, кто в этой толпе самый основной: кому то и дело докладывают и, объясняясь, указывают на что-то.

И тогда: завозите следующего комкора, этот закончился.)

Перед нами стоял не такой генерал, каких привыкли воображать: сто двадцать килограмм веса, бордовое лицо, желваки, челюсти, закалённый бас, беспощадный кабаньих пригляд, – всё не то.

Этот, показалось, несколько даже смутился при нашем появлении.

Мы пожали друг другу руки.

Протянутая рука была суха, спокойна, в меру крепка.

У комкора было интеллигентное лицо инженера или учителя старших классов, по совместительству директора школы: сидящий блондин с тонкими пальцами человека, в юности неплохо игравшего на пианино.

Он был немного выше меня и Захарченко.

Мы стояли за насыпью; до позиций нашего несчастного неприятеля было метров двести. – Товарищ комкор! Беспилотник! – доложил подбежавший, из местных, офицер.

Все посмотрели на небо.

– Сейчас накروют! – сказал офицер.

Он был явно взволнован – но, конечно, не своей судьбой: мало ли их тут накрывало, – а здоровьем невиданных гостей: впервые здесь объявились сразу комкор и Глава республики.

Комкор, не глядя на офицера, еле заметно кивнул, но не двинулся с места; стоял, красиво прислонившись плечом к дереву.

Захарченко выждал с полминуты, и начал что-то говорить комкору. Некоторое время тот внимательно молчал. Затем несколько раз ответил: коротко, очень тактично, по интонации – скорей, задумчиво.

Я стоял рядом и не особенно слушал разговоры взрослых, пока Захарченко не сказал, качнув в мою сторону головой:

– ...а на Пантелеймоновку батальон Захара зайдёт.

Комкор поднял на меня глаза и снова едва заметно кивнул: пусть так, хорошо.

Отношения между корпусом и гвардией Захарченко были в меру деловыми: корпус удерживал основную часть позиций, оставшееся куски фронта ушли под Батиных офицеров.

Полноценное наступление Захарченко устроить не мог – корпус, как Главнокомандующему, подчинялся ему номинально: отчитываться о происходящем комкор обязан был, увы, не здесь, – иначе: никакого кресла-качалки и никаких мемуаров.

Глава мог позволить себе почудачить на отдельных направлениях.

Но ссориться Главе и комкору было совершенно ни к чему.

Они оба входили в сложное положение друг друга.

Разговор наш носил характер ритуальный. Я был частью ритуала: вовремя подвернулся.

Местный офицер – нарушая субординацию – взмолился, чтоб мы ушли, наконец. Глаза у него были совершенно несчастные.

Ещё раз пожав друг другу руки, мы попрощались с комкором и направились в разные стороны: комкор и его сопровождающий налево, а мы направо и назад.

На другой день Глава вызвал меня к себе в резиденцию. В своей манере изложил самые трудные из возможных перспективы: будет танковая атака, – он назвал какое-то несусветное количество танков, я даже в кино столько не видел, – примерно показал на карте, где лучше всего занять позиции, на которых батальон будут давить, – и напоследок спросил для проформы: «Всё понятно?».

– Так точно.

Я вышел на улицу и посмотрел на солнышко.

Сел, покусывая губы, в машину.

Граф привычно скопился на меня, не выдавая любопытства, но уже любопытствуя.

Тем временем я не столько думал, сколько спрашивал сам себя: это со мной? это уже где-то было? а где?

* * *

Батальон наш расположился в дачном посёлке Донбасс, метров за пятьсот от Пантёхи. До украинских позиций был километр с гаком.

Мы прокопали вокруг посёлка, на расстоянии двухсот-трёхсот метров, несколько линий обороны, и тем самым сократили расстояние до нашего несчастного неприятеля.

Сами расположились прямо в домиках: смешных теремках и покосившихся коробках летнего типа.

Из местных на весь дачный посёлок оставалось немногим более десятка гражданских: в основном старики.

Плюс мы – рота сепаратистов, разведка, миномётчики, повара, прочие.

Другая рота батальона сидела на располаге в Донецке, стерегла Швейка, патрулировала район, охраняла городскую вышку связи, которую несколько раз пытались подорвать специально подосланные люди.

Роты сменялись.

Третья рота просматривалась пока только в перспективе.

Очередь желающих устроиться в наш батальон была ещё в два батальона длиной, – со всей большой северной страны писали, как под копирку: «Возьмите к себе служить, люди добрые, жена совсем заколебала», – не без мстительного чувства, я никого не брал: заколебала – мирись.

Причины, однако, были другие: нам не давали расширяться. В полку на батальон наш смотрели косо.

Командир моего полка встречался с Главой при самых лучших раскладах раз в месяц, а меня вызывали постоянно: обсудить всякие новости, почудачить на передке, прокатиться по республике, выгулять почётных гостей – кто-то ж должен был общаться с французскими депутатами, российскими политологами, американскими артистами; тем более что каждый третий из них вкрадчиво спрашивал по приезду: «А правда, что у вас служит здесь солдатом русский писатель?» – «Не солдатом, а офицером... Казак, набери Захара, где он, пусть приедет...»

Комполка за два года даже не пытался что-то мне приказать – по одной должности, в качестве замкомбата, я был его подчинённым, но как советник Главы – уже нет; кому такое понравится. Батальон наш жил в своей располаге, стоял на отдельных позициях и, в сущности, подчинялся Главе напрямую.

Операции, которые комбату, начштаба или мне приходили в голову, – мы ни с кем не согласовывали.

Если операция была палевной (а все операции были палевные, потому что действовали своеобразные – не-мира-не-войны – международные соглашения, позволявшие в ежедневном режиме убивать, но не позволявшие наступать или убивать за раз слишком много, тем более из тяжёлого вооружения), – я говорил: ничего, сделаем, как задумали, а перед Главой прикрою. Хорошо получится, он похвалит. Плохо – признаю, что виноваты; но потом скажу, что нас обогнали.

Сегодня после завтрака мы как раз собирались заняться чем-то подобным.

Четыре дня назад наш несчастный неприятель, пропалив, что у нас миномётный расчёт перебрался по своим причинам жить в самый крайний домик посёлка, выкатив БТР, отработал по миномётчикам.

Итог: трое «трёхсотых», один тяжёлый, инвалид на всю жизнь – перебит позвоночник. (Заскакивал последним в домик – в его двери оказалось ближе, чем до вырытого во дворе блиндажа, – на миг, пропуская другого бойца, замешкался – и вот).

С утра я заезжал поболтать с миномётчиками. По должности мне было положено работать с личным составом, без устали поясняя им поставленные республикой задачи, – но за всё время службы я ни разу ничем подобным не занимался; какие-то журналы вела специально для этого взятая в штат умная девушка – но и в журналы эти я не заглядывал никогда, в батальоне будучи по очередности всем: командиром, «крышей», корешом, консультантом, «кошельком», но точно не замполитом; однако мимо ехал, миномётчики позвали на чаёк, и остановился.

Граф всё это время едва заметно нервничал – он воевал уже четыре года, выживая там, где выжить было маловероятным, – и наработал себе чутьё. Ничего не сказал тогда, но я видел, что ему не нравится ни костерок во дворе, ни беззаботность миномётчиков.

Успокоился, только когда мы укатили обратно в свой домик в глуби посёлка.

...Сегодня даже не заехали к себе.

На въезде в дачный посёлок стоял начальник штаба, Араб. Привычно спокойный, красивый, с будто подведёнными восточными глазами.

(При знакомстве первым делом спросил у него про национальность – он ответил: «Хохол». Я: «Мы тут все хохлы, – а если вглубь времён всмотреться?» Он: «Из венгров. Но вообще – луганский хохол».)

Из машины я не стал выходить: спросил, приспустив стекло: «Всё готово?»

– Да, тебя ждём, – ответил Араб.

– Кофе пили, – пояснил я.

Араб без улыбки кивнул.

– Ты где будешь? – спросил.

– На передок проеду. Пусть меня встретят.

Араб потянулся к рации.

Мы проехали посёлок насквозь и стали в самом низу, за разлапистыми деревьями, – не на «круизёре» же мне выкатываться к окопам. Нас ждал заведённый «козелок».

За посёлком, на лугу, как ни в чём не бывало, паслись козы. Нас разделял протекающий в глубокой низине ручей.

Открыв багажник, достал броник, шлем; быстро надел всё это на себя, подтянул, попрыгал: готов.

Когда «козелок», полный вооружённых мужиков, тронулся, громяхая по железному настилу проложенного через ручей мостика, – козы, словно нехотя, чуть-чуть пробежали вперёд.

По буеракам, через луг, скрываемые взгорьем, мы проехали ещё двести метров. Оттуда уже пешком, бочком, пригибаясь, – к позициям, где только-только начал работать в ту сторону «Утёс».

Долбил как в стену; убедительный звук.

С-под куста, выбежав на открытый участок, сделал выстрел гранатомётчик.

Всё вокруг было весело, словно на пикнике, где люди готовят мясо. У бойцов – привычно небритых, но сегодня как-то даже получше приодетых, – были с виду смурные, но, если присмотреться, – собранные, сияющие лица. Никто ни о чём не волновался.

Мы стояли в окопе. Я, чуть улыбаясь, смотрел, как все работают.

На краю окопа росла какая-то поебень-трава, я оборвал стебелёк, засунул в зубы. Всегда так делал, если находилась травка: личная примета.

Расчёт был банален, но верен: мы хотели дождаться ответа с той стороны на раздражающий огонь.

– «Сапог» выкатили! – сообщил, наконец, наш наблюдатель. (Станковый противотанковый гранатомёт, СПГ-9: вещь!)

Ага, купились.

– Арабу передай, – сказал я радисту.

Арабу передали, что выкатили «сапог».

Сейчас они будут нам отвечать.

«Слева прилёт! Миномёт!» – крикнул кто-то; Граф резко потянул меня за броник, чтоб я присел, не торчал, и сам тут же сменил позицию, встав слева от меня, прикрывая.

...уже отвечают, но мы их опередим.

На вооружении нашего батальона имелись особые ракеты, получившие в батальонном народе имя «вундер-вафля»: я б и такое тоже не придумал.

Весила, как снаряд «Града», – девяносто. Внутри имелись: движок от того же «Града» и взрывчатка, придуманная в недрах оборонных ведомств, управляемых кумом Главы – тем самым Ташкентом.

Во всей армии Донецкой республики «вундер-вафли» имелись на вооружении только в подведомственном Ташкенту подразделении – и у нас: Батя подогнал, за красивые глаза.

Сегодня решили истратить две из оставшихся двенадцати. Разведка три дня подряд пасла неприятельские позиции и уточняла цели.

Говорили, что радиус поражения «вундер-вафли» – до трёхсот метров; думаю, что создатели подвирали, меньше; но и сто пятьдесят – много.

Имелась единственная проблема: ракета могла отклониться далеко в сторону от намеченного маршрута.

Лететь они будут почти через нас – это представлялось, пожалуй, даже более неприятным, чем стрельба в нашу сторону. Кто знает, что у этой ракеты на уме – может, в движении закисли контакты, и ей придётся упасть куда-нибудь поближе к нам. Тогда здесь никто не выживет, даже я.

Другая опасность: случится перелёт. За позициями нашего несчастного неприятеля находился посёлок Троицкое, который мы однажды собирались освободить. А не убить.

Пока я гонял в голове мысль, какой вариант предпочтительный: сейчас угодить в ад, но с правом на адвокатуру (явный недолёт), либо чуть позже, но стопроцентный, не подлежащий пересмотру (явный перелёт), – сзади хлопнул выстрел.

Было ощущение, что летящая сначала позади нас, в нашу сторону, потом над нами, потом дальше, прочь от нас, ракета накручивает воздух, как рыбацкую сеть на пропеллер, – со всеми рыбами, птицами, звёздами и облаками.

Сейчас меня подхватит и понесёт вослед.

Это было жутко – и я не в силах вообразить чувства тех, в чью сторону она летела.

Могу угадать два слова, которые произнесены.

Выставим их отдельной строкой, воткнём колышки по четырём краям: тут умирают. Вот они, эти слова.

«Ебать, мужики».

Возможно, потом прозвучали ещё два слова, плюс частица.

Ещё четыре колышка, чтоб никто глупый на заступил, не натоптал.

«Ну, всё, пиздец».

Но тогда я об этом не успел подумать, оттого что ракета – будто бы заметив что-то любопытное – повела себя как живая, разумная, внимательная рыба, и резко пошла вбок.

Я высунулся из окопа; во-первых, мне было всё равно, что убьют: если она упадёт на посёлок – самое малое, что со мной можно сделать, это убить; во-вторых, с той стороны никто уже не стрелял: воцарилась тишина.

Наши тоже сидели, щурясь и всматриваясь вперёд.

Ракета ушла за пределы видимости и жажнула, грохнула, грянула где-то там, вне пределов видимости.

Расстояние было точно не меньше километра – но ударная волна дохнула с огромной силой, качнула поле, придавила травы; даже хаки на мне, штаны и рукава, на миг прилипли к телу.

– ...херасебе, – сказал кто-то рядом в одно слово.

Где-то там, где случился взрыв, располагались позиции наших корпусных соседей, – и окраина деревни тоже лежала поблизости: всё впритык.

«Господи», – подумал я.

Сплюнул поебень-траву и крикнул водителю:

– Поехали к чёрту! – мне надо было срочно узнать, куда это попало.

Напоследок обернулся к бойцам, – «Утёс» молчал:

– А чего не работаем? Работаем!

Мы уселись в «козелок» – я на переднее сиденье, и рванули вниз, к посёлку; по дороге было метров тридцать, когда мы находились в зоне видимости с той стороны, а дальше пропадали, – тридцать метров пролетели в миг; на лугу водитель сбавил скорость, чтоб не развалить

машину о выбоины и расколдобины, – и тут же, совершенно обыденно, почти не слышные за стрельбой с наших позиций и за надрывом мотора, – в травке, метрах в тридцати, не больше, от нас, подбросив безобидный столб пыли, – жажнул взрыв, и следом ещё один, ближе к нам.

«Наугад накидывают из АГС», – подумал я отстранённо.

Это всё чепуха – по сравнению с тем, что мы уронили только что неведомо на кого.

Я оглянулся назад: как там пацаны мои? Граф, сидевший за водителем, судя по лицу, даже не заметил ничего; поднял на меня вопросительные глаза: что? – я махнул головой: всё в порядке!

Только водитель заметил, что нас кроют, и чуть пригнулся к рулю, словно это могло спасти.

Фигня не фигня, а если б это упало нам на крышу – нас бы тут всех размотало.

– Стой, – вдруг увидел я.

Водитель с недоумением посмотрел на меня; я пояснил:

– Коза вон...

По нам вроде бы больше не накидывали. Зато коза, подбитая и пробежавшая сколько-то на раненой ноге, неподалёку от нас утратила силы и завалилась, как бы присев.

Остальное стадо, сбившись в кучу, топталось поодаль; вернуться домой они могли только по железному мостику, но туда уже заехали мы. Опыт предыдущих перестрелок ничему коз не научил: забывали пережитое на другой же день. Память хуже, чем у людей.

Раненая коза безуспешно пыталась поднять себя.

– Тайсон! – окликнул.

– Я! – как всегда молодцевато, отозвался он.

– Иди козу прихвати, свезём на кухню.

– Есть, – бесстрастно ответил Тайсон.

Я взял рацию и запросил Араба.

– На приёме, – ответил тот ровным голосом, как будто вообще ничего не происходило.

– Как у нас дела? – поинтересовался я, уверенный, что он понимает, о чём речь.

– Пока причин для паники нет, – ответил Араб после секундного молчания.

– А чего по мне тут стреляют тогда? – спросил я.

В эту секунду Тайсон выстрелил козе в голову; так совпало.

– Уже исправляем, – ответил Араб, причём последний слог слова «исправляем» был оборван: раньше отпустил тангенту – что-то отвлекло.

Понятно что: услышали ещё один выход «вундер-вафли».

Пронзая воздух, стремительная, как воплощённая злоба, она пронеслась над позициями и на этот раз прошла прямо до верхней точки параболы – а потом, гонимая чудовищной инерцией, вниз.

Разрыв, казалось, качнул «козелок».

Я смотрел куда-то туда, в сторону, откуда пришёл тугой и огромный звук, – но видел только Тайсона, волочившего козу: в момент взрыва он остановился, чуть нагнув голову. Отпечаток этого кадра вклеен в меня навек: поле, трава, грязное стекло «козелка», мёртвое животное, живой боец.

– Ко мне, что ли, – посетовал водитель тоскливо.

– Раненых возишь, у тебя и так всё в крови, – сказал я.

– То ж люди, – ответил он моляще.

– А то ж коза, – сказал я. – Сам её жрать будешь.

– Не буду, товарищ майор, – сказал он.

Я выскочил из «козелка»:

– Тайсон, давай в нашу, у него всё равно места нет. На кухню её свезём... Надо только хозяина найти, компенсировать.

До «круизёра» дошли пешком – оставалось метров тридцать.

Граф сдвинул в багажнике «эрдэшки», вещи, развернул клеёнку – у нас при себе имелась. Забросили козу.

Помчались к штабу, – у кухни, по пути, тормознули, взметнув пыль: «Э! товарищи женщины! – поварихами у нас служили сердечные и волевые молодухи. – Мясо привезли!». Ещё через минуту я был в штабе.

Сразу вперились глазами в Томича – тот кивнул мне: привет, мол; ощущения катастрофы в воздухе не витало.

– Что с первой? – спросил я.

Томич кивнул на радиста: вон, связывается.

– Ещё никакой инфы нет? – спросил я чуть громче, чем надо.

Томич поднял на меня озадаченные глаза – и вдруг понял, о чём я.

– Всё нормально, всё нормально, – в своей быстрой манере заговорил он. – Попала куда надо.

– Не по деревне? Не по нашим соседям? – спрашивал я уже напрямую.

– Нет-нет, – поспешил меня успокоить и радист тоже. – Всё нормально. Соседи очень довольны. В укропский укреп-район вроде попало.

– Мы даже туда и не целились, – сказал Томич и засмеялся.

* * *

После того, как упала вторая «вундер-вафля», ответка с той стороны сразу же затихла.

Через полчаса явился командир разведки, Домовой.

Спрашиваю: «Что там?» – он потешно изобразил, как, находившаяся чуть в стороне от взрыва, дорабатывала своё пулемётная точка нашего несчастного неприятеля: «Сначала быстро, пару очередей, – “Тыг-дыг-дыг, тыг-дыг-дыг...”, – потом вдруг сбавив ритм – “Тыг-тыг... Тыг-тыг... Тыг...”, – а затем совсем уже медленно, из последних сил: “Тыг... Т-т-ты-ы-ы-ыг...” – и брык, бай...»

«Дошло, что убиты...» – Домовой смеялся; чернявый, невысокий, похожий на цыганёнка, всегда в отличном настроении, москвич, кстати, из Люберец; недавно был ранен в ногу, месяц выздоравливал, томился, даже глаза погрузтели – «когда опять за работу...», мне всё время хотелось его шоколадкой угостить, или там салом, чтоб развеселился.

Ещё он писал стихи; но я ни разу так и не попросил его почитать вслух, чтоб не огорчаться; мне он и так нравился.

Один раз позвал его поужинать с нами: сидели я, Араб, Граф.

Домовой чуть удивлённо нас оглядывал, улыбался, посмеивался, изредка шутил; быстро съел салат, котлету, и, выждав минуту, попросился: «Пойду, товарищи командиры?» – ему было будто не по себе; он прошёл «срочку», отслужил по контракту, потом приехал сюда, – кажется, у него в крови было: нечего среди офицеров лишний раз крутиться.

Теперь Домовой выглядел счастливым.

Мы десять раз покурили; кто-то из оставшихся при кухне забавно рассказывал, как, едва рванула в небеса первая ракета, и потом прошла взрывная волна, – качнув кроны и перелистнув страницу на оставленной кем-то раскрытой книжке, – тут же местные поселковые граждане, оседлав велосипеды, поспешили из деревни вон: люди опытные, приученные к тому, что ответка может не заставить себя ждать.

Мы смеялись. Мы выглядели как циники и были циниками.

А что надо было сделать? Заранее обойти эти десять домиков и сообщить: дорогие жители, сейчас будет обстрел? Здесь едва ли не у каждого второго оставалась родня на той стороне – они б через минуту могли туда отзвониться.

(Как нам с той стороны иной раз звонили.)

Ответки всё не было.

Я включил свой телефон, который на передке на всякий случай вырубал, и он тут же замигал, задвигался: Казак.

Голос у Саши почти всегда был весёлый:

– Это вы там... шалите? – спросил он.

– Откуда вестишки? – спросил я.

– Ташкенту корпусная разведка по секрету сообщила: одиннадцать двухсотых на той стороне, только в одном укреп-районе. По признакам – ракета. Вы?

– Было дело.

– Там через посёлок «скорые» туда-сюда летают. Много раненых.

– Будут ещё новости, сообщай.

– Приедешь сегодня?

– Да, наверное. Смотрю пока.

Уже темнело; я сообщил новости комбату, тот снова засмеялся.

Вышел ещё потолкаться, подышать, посмотреть на бойцов.

Народ толпился возле штаба, все зудели, как после весёлой игры.

«Беспилотник!» – подметил кто-то; я поднял голову вверх, – да, нас пасли.

Из штаба на улицу выскочил комбат:

– По домикам все! Не торчите!

Я вернулся в штаб, сел там, верней, полулёг на шконку, и закурил.

На другой стороне посёлка, по звуку – метров за триста от штаба, раздалось два взрыва: их миномёты.

Медленно выпуская дым, в который раз с удивлением вдруг увидел себя со стороны: ведь это же не реальность – а из какого-то фильма выпала плёнка, зацепилась за рукав, я её, как репейник, отодрал, разглядываю первый попавшийся кадр на свет, – а в кадре я: сижу в блиндаже, мерцает свет, лампочка под потолком без абажура, тусклая, – рядом связист, по рации перекликаются наши посты: «Пятый, наблюдаю», «Седьмой, у тебя шнурок развязался», пауза в три секунды, «А у тебя лифчик», тут же жёсткий наезд начштаба: «Отставить!» – и все молчат, – а у меня автомат на коленях, а у меня сигарета тлеет, я смотрю на её мерцающий огонёк – а в расфокусе сидит комбат; тишина.

Кажется, большого обстрела сегодня не будет.

– Так, – говорю, – я поеду. Разузнаю получше, куда от нас прилетело. Если что – звоните, вернусь.

Мы усаживаемся в «круизёр», Арабу бросаю, опустив стекло: «Буду скучать», – он молча кивает; срываемся с места – до свидания, мальчики, ма-а-альчики...

Забавно, что по трассе, в километре от Пантёхи, поворот направо и указатель: «Троицкое – 2 км»; между прочим, там стоит ВСУ, мы в ту сторону стреляли сегодня, стреляли месяц назад, и три месяца назад тоже стреляли, – а они в нашу, – но здесь чувствуется странный слом представлений о расстояниях: когда я смотрю в бинокль – мне всё равно кажется, что они где-то далеко, с той стороны стекла, и если туда пойти, то можно провалиться во временную яму, в миражный обморок, будешь идти-идти-идти – а горизонт, вернее, их окопы, и это самое Троицкое, будут удаляться, удаляться, удаляться...

Мы так давно стоим напротив Троицкого, что иногда я вообще перестаю верить, что они есть, что там кто-то живёт, дышит, думает о нас.

А с трассы – два километра! Если свернуть, и удивительным образом миновать блокпосты – наши, потом их, – чего тут ехать? – считанные минуты!

У них там сейчас шумно, суматошно, кроваво, – носятся медбратья-медсёстры с носилками, – перемешанная русская, украинская речь, – телефоны звенят, – поселковый глава приехал, стоит в стороне, – чёрт знает, что у него на уме, за кого он...

Можно подъехать, спросить: не помочь ли чем.

...пролетели мимо.

Отсюда рукой подать до Донецка, потом ещё полчаса, а то и меньше, по городу; а заскочу-ка я в «Пушкин» опять.

Ну, конечно, так и думал: сидят и Казак, и Ташкент.

И та, уже виденная мной, пара, жених и невеста. Весь день, что ли, просидели? Или позавтракали и вернулись ужинать? Никогда их тут не видел.

Я завалился в кресло. Ташкент смеющимися глазами смотрел на меня, Казак улыбался.

– Ну что, нормально? – спросил Ташкент.

– Космос, – сказал я.

Они, видимо, тут как раз ракеты и обсуждали, Ташкент рассказывал о своём ведомстве, а при мне продолжил:

– ...в момент взрыва происходит резкий перепад температур: получается что-то вроде вакуума. Никакие укрытия не спасают, кроме герметичных... Могут органы полопаться. Раненые – не жильцы.

Я поискал внутри реакцию на это: её не было. Это война.

Когда с той стороны выкладывали пакет за пакетом «Града» на донецкий ядерный могильник – я находился здесь и видел: они осмысленно хотят устроить катастрофу, чтоб всё живое распалось от радиации. Могильник надёжно, в прежние времена, делали: он пережил «Грады», а потом ещё «Ураган» – «Ураган» та сторона тоже применила, и с тем же результатом: никаким.

Наконец, они военные: хочешь жить – не ходи сюда; спрячься от сборов, сбеги в Россию, сними форму, заберись под куст. Надел форму – умирай, это долг.

Я заказал рюмку коньяка, и выпил, и покурил, и кофе заказал, который не люблю, и ещё покурил, и куриный бульон – просто ради тёплой жидкости внутри.

Суп только принесли, а на телефоне высветилось: «Личка Главы». Я взял трубку.

– Личка Главы.

(Так они и представлялись.)

– Я понял.

– Глава сказал, что нужен язык. Вам нужно добыть языка. Сказал: передайте Захару: нужен язык.

– Вот как. Плюс. Принято.

Положил трубку, оглядел Ташкента и Казака.

Казак спросил умными глазами: что там?

Я мимикой ответил (дрогнув левой щекой): ничего такого. Потом словами добавил: «Да по нашим...» – имея в виду: по нашим батальонным делам.

– Вернёшься? – спросил Казак.

– Конечно, – ответил я, хотя догадывался, что сегодня уже не приеду, но мне лень было прощаться, заставлять начальство подниматься из-за стола, всё такое, – церемониал этот.

В машине думал: такого приказа ещё не было.

Вообще говоря, это могло оказаться подставой – личка в глаза улыбалась, но... там имелись люди, могущие подкинуть мне подлянку.

Потом Батя скажет: а кто тебе звонил?

А я не знаю кто: не представились. Но они и не представлялись никогда: набирали с одного и того же стационарного телефона в его доме – кроме лички, никто с него звонить не мог.

Да, письменного приказа не поступало, но для подставы слишком глупо.

Скорей, было так: возникла проблема – видимо, какого-то важного ополченца либо выкрали прямо из города, либо взяли на передке, – Бате доложили, – и Батя тут же бросил личке: «Так, позвоните тому, этому, кому там ещё, Захару, – пусть ищут языка на обмен».

Осталось придумать, как мы это сделаем.

«Круизёр» опять покотился в сторону Горловки. В машине играл рэпер Честер.

* * *

От наших окопов и почти до самого Троицкого – лежало поле: оно просматривалось и, кроме того, было минировано-переминировано.

До нас тут стояли три подразделения – и куда они дели карты минирования, чёрт их знает; последние, кого мы меняли, ситуацию изложили устно: «Туды... – широкий взмах руки, – нэ ходы...»

Разведка Домового протоптала свои муравьиные тропки, они подползали метров на сто пятьдесят к нашему несчастному неприятелю; первый раз – через пару недель после нашего захода сюда: вlepили с гранатомёта в бойницу блиндажа, как в копеечку, – задвухсотили четверых и уползли, как их и не было. Но ту тропку нам пропалили и заминировали.

Другие тропки заканчивались и того дальше. В любом случае, даже если подползти на двести метров – остальные не перелетишь; сигналок, наверняка, понаставлено на целое новогоднее представление.

У Томича сразу возникли решительные планы: выкупить языка у корпусных соседей.

Неподалёку от наших позиций имелся контрабандистский лаз – по нему перегоняли сигареты. Злословили, что соседский комбат, имея долю, закрывал на это глаза. Но время от времени глаза вдруг открывал – контрабандистов обстреливал, а то и отстреливал, – и таким радикальным образом цену прохода контрабанды повышал.

С территорий, временно оккупированных нашим несчастным неприятелем, груз сопровождали украинские военнослужащие – малосильные солдатики, посланные охранять стратегическую фуру и за работу получавшие в лучшем случае блок сигарет, а то и меньше.

Барыш с одного грузовика был отменный – мне называли цифру, я испугался и забыл её навсегда.

Если сегодня одного солдата унесёт нечистая – на неделю-другую канал закроется, солдата спишут как беглеца или без вести пропавшего, и начнут по новой.

Но для такого варианта надо было провести срочные переговоры с тем комбатом, что соседствовал с нами, – а груз, может, уже проехал, это раз; а два: с чего бы комбату рисковать постоянным доходом ради нашего языка – мы ему столько всё равно не заплатим; и, наконец, три: с какого-то времени у нас испортились с ним отношения – его бойцы приезжали на Пантёху покуролесить, а там дежурила наша ГБР, группа быстрого реагирования, с тем самым бесстрашным и чудовищным чехом; по идее, ГБР должна была вылавливать наших бойцов, ушедших в самоволку, – но наши быстро сообразили, чем это заканчивается, и мирно, приключений не ища, торчали на позициях, – зато соседи заехали раз, заехали два, попали на нашего чеха – и были за бытовое уличное хулиганство обезоружены и биты.

Участковый на Пантёхе души в нас не чаял, на чеха смотрел как на сказочное существо – и то, что этот бородатый тип едва говорил по-русски, лишь добавляло колорита.

На словах соседский комбат нас поблагодарил, – молодцы, мол, так и надо с моими демонами, – а на деле затаился: всё-таки его бойцов замесили, это унижение; да и в другой раз, если ему самому надо ночью на Пантёху заехать – по сторонам теперь озираться?

Он был донецкий, местный – а Томич и я прибыли чёрт знает откуда, но ведём себя как хозяева.

Короче, этот вариант при внимательном разборе никуда не годился.

Томич говорит:

– Из тюрьмы можно выкрасть – залётчиков, которым ничего кроме пожизненного не светит.

Я говорю:

– И что? Он же расскажет, кто такой, на первом же допросе.

Томич:

– А он не доедет. «При попытке к бегству...»

Я никак не мог понять, валяет он дурака или нет; но, признаюсь, меня всё это смешило.

– Ага, и мне Глава скажет: язык хороший, но мёртвый.

Томич задумался.

Араб всё это время молчал, время от времени поднимая свои внимательные совиные глаза и переводя их с меня на Томича и обратно.

Начали думать про соседей с другой стороны. Можно было попробовать зайти с их позиций: они стояли в некоторых местах едва не лоб в лоб с неприятелем. Домовому там разрешали поработать, присмотреться, даже пострелять, не жадничали.

Мы позвали (Араб выглянул и зычно крикнул) Домового, я ему в трёх словах всё изложил, он присвистнул. Вероятность удачи была невысока; погибать между тем пришлось бы конкретно ему. Но Домовой не огорчился: он был готов и к таким приключениям.

В плюс нам работало то, что мы забомбили для соседей неприятельский укреп-район: они пока были за это благодарны – завтра уже благодарность станет пожиже, а послезавтра совсем забудется; в довершение: у нашего несчастного неприятеля после взрыва могли «глаза» полопаться («глазами» называли тут наблюдателей): битых с укрепа оттащили, а других могли в полном составе не завести, опасаясь, что мы на прежнее место уроним новую ракету.

Я изложил всё это Домовому; ему расклад показался резонным.

Связались с соседями, напросились в гости, они: давайте, ждём. Выехали; а чего тут было ехать, даже кружным путём, – через двадцать минут уже сидели с их начштаба, длинным, костлявым, улыбчивым мужиком. (Тяжелораненый их комбат лечился.)

Тот выслушал, покачал головой.

– Попробовать можно. Шанс, да, только один: если по большей части все отошли или, как вы говорите, испеклись. Может, забыли кого бессознательного в неразберихе... Но у нас там секретки стоят, вы ж даже нашу сторону не проползёте тихо...

Я молчал, Араб молчал, комбат молчал. Домовой вообще не дышал.

– Глава, говоришь, приказал? – спросил длинный у меня.

– Так точно. И о совместном исполнении, если что, доложу лично, – насыпал я с горочкой.

Тот горько соединил брови: мол, не за ордена воюем; хотя, что-то мне подсказывает, хотел услышать именно это.

– Сейчас, – сказал он, – дам вам провожатого.

Он выглянул на улицу и попросил:

– Деда позови!

Покурил с нами, расписывая, чего и где спрятано у нашего неприятеля. В свой черёд я рассказал про «скорые» и нынешнюю суету в Троицком. И про то, что происходит с попавшими под «вундервафлю». Длинный слушал внимательно, пару раз криво ухмыльнулся. Я надеялся на более живую реакцию.

Явился, и правда, натуральный дед: древний, с белой бородой. В форме без знаков отличия.

– Вызывал, командир?

Длинный молча вышел к деду на улицу. Минут пять их не было.

У меня возникло противное чувство: словно кто-то живой поселился внутри, елозит там, возится, ноет, – и, сука, не выгонишь его.

Не то, чтоб я вертел в голове: ох, может, и не надо нам никакого языка, – зачем же ты ради нелепой бравады втягиваешь в свою затею живых людей, – а они ведь могут погибнуть, – и сам ты, дурак, сейчас пойдёшь с ними, – а ведь можно было б забить на всё это.

Нет, я ничего такого не думал. Я просто это знал.

Равно как и другое понимал: Батя просто так ничего просить не станет, и язык наверняка нужен, и пока у меня елозит, возится, ноет внутри, – взятого в плен нашего бойца пинают в грудь и бьют в лицо, и его надо менять, надо спасать, и нечего тут кривляться.

Но даже то, что я допускал внутри себя разноголосицу, послужило одной из причин, по которой, собирая батальон, я осмысленно увёл себя на второе место, – и предложил командовать Томичу, внешне вроде бы несколько не похожему на комбата из песен про комбата, зато уверенно тащившему свою комбатскую ношу и на лишние рефлексии – мне так казалось, хотя кто знает! – не разменивавшемуся.

Чего стоит это его, впроброс, – «при попытке к бегству...»; я и сам мог отдавать приказы из раздела «преступления против человечности» – но, чёрт, у всего есть свои пределы.

Впрочем – где они?..

Я достал ещё одну сигарету, хотя только что забычковал выкуренную, и отчётливо понял: мне всё равно хочется, чтоб длинный зашёл и признался: «Нет, не годится ваш план!» – и тогда ответственность с меня будет как бы снята: я сделал всё возможное, но обстоятельства восстали против.

Длинный открыл дверь и сказал:

– А пойдёмте. А то досидимся, и светать начнёт.

Я поднялся и почувствовал, что ноги у меня не такие послушные, как хотелось бы.

Ничего, сейчас разгуляюсь. В такие минуты всегда знаешь: надо начать, а там пойдёт.

Дед стоял вроде в той же самой форме, но впечатление создавал уже совсем другое: он был весь утянутый, подобранный – его можно было сейчас перевернуть вниз головой, трясти изо всех сил, и ничего б у него не звякнуло и не выпало.

– А и правда – тихо сегодня, – сказал длинный. – Может, действительно, отошли?.. – он скопился на деда, но дед не отреагировал.

– Кто у вас разведчик? – спросил дед совсем неприветливо.

Домовой быстро глянул на комбата и на меня, и, поняв, что можно открыться, сказал:

– Я.

– ...группа идёт до конюшен... – сказал дед, смерив Домового взглядом, и больше ни на кого не глядя.

Потом вдруг снова оглянулся на Домового:

– Ты, что ль, цыганок?

– Ну, я, дед! Не узнал?

– Темно ж! А я думаю: кого мне навесили...

Все сразу расслабились, даже длинный улыбнулся.

– ...группа идёт до конюшен... А Домовой – со мной, – уточнил дед.

– Минуту, – сказал я.

Мы перекинулись парой слов с Томичом – он, естественно, остался тут, комбату ещё не хватало ходить по ночи туда-сюда, – одновременно я открыл свой «круизёр», – броник, шлем, – приделся, попрыгал, – Араб: «Тоже с вами пойду»; он всегда, я давно заметил, чувствовал ответственность за меня, и, кроме прочего, ни черта не боялся, всё время норовя это показать.

Длинный нас не оставил, и оттого стало ещё спокойней. С ним было ещё трое бойцов, плюс дед, плюс Домовой, и нас четверо: Араб, Граф, Тайсон.

Чертыхаясь, мы куда-то шли в темноте, вокруг не столько виделась, сколько ощущалась свалка, – битые кирпичи, поломанные плиты, всякий мусор – обычные пейзажи подобных мест; до конюшен оказалось недалеко. Там нас встречали не по сезону тепло одетые бойцы.

«Здравия желаю, отцы! – сказал кто-то сипло. – Эка вас много... Не то сёдня чо покажут интересное? Какая ракета нынче прилетала – у Полтавы нос ушёл вовнутрь, назад высмаркивал целый час... В итоге глаз выпал, а нос так и остался внутри...»

Боец вглядывался в нас. Возраст его, как часто бывает у ополченцев, определить, тем более при свете луны, было невозможно: щетина по самые глаза, и больше ничего.

– Вы запускали-то? – поинтересовался он у меня.

Я ничего не ответил.

– Спросить хочу: после неё стоять будет?

– А то у тебя стоял, – ответил кто-то из угла. Наверное, тот самый Полтава.

– Так я о том и спрашиваю, может она обратного действия... – и он сипло засмеялся.

То, что назвали конюшной, – было, судя по всему, складскими помещениями, вполне себе крепкими, с оборудованными бойницами, и бойниц оказалось больше, чем бойцов, – кроме этих двоих, я пока никого не видел; может, заныкались где.

– ...я себе только чай приготовил, – рассказывал сиплый своему длинному начальнику штаба, – всю последнюю заварку извёл, и эдак поставил на край, вот тут, в бойнице, – так кружку сдуло, командир, аж вон туда: где чай, где чё. Хорошо, сахарок во рту держал. Хотя и его проглотил не понял как.

За разговорами я упустил, как исчезли дед с Домовым.

– Тихо, – сказал, наконец, длинный, и все сразу смолкли.

Я немного поглазел в бойницу, ничего, естественно, не увидел, рядом стоял Араб, и всё, в отличие от меня, понимал: вон там, сказал шёпотом, укреп, вон там – посёлок, вон в той стороне у них техника стоит...

Получалось так, что я просто шёл и пришёл, – а он шёл и понимал, на какое место, если посмотреть по карте, мы явились.

«Ну, на то он и начальник штаба, ему положено всё знать», – успокоил я себя.

Возле бойницы был ящик, я охлопал его руками – нет ли острых, колющих, режущих предметов, – и присел, и залип.

Было непривычно тихо.

Не прошло и десяти минут, как рация, которую держал один из сопровождавших длинного бойцов, ожила.

«В нашу сторону – движение», – прозвучало там отчётливо.

Поначалу подумал, что это дед докладывает, но через секунду понял: нет. Это длинный слушает украинскую волну – и, как выясняется, «глаза» на той стороне вовсе не полопались, а всё видят.

Все здесь отдавали отчёт в происходящем: и ещё минуту назад хихикавший сиплый, и прятавшийся в углу Полтава, и ещё кто-то, в соседнем помещении, – вдруг оказались у бойниц, и защёлкали предохранителями, и окружающее сразу приобрело другие, собранные и суровые, очертания. Образовалась жёсткая, пахнущая железом, готовность ко всему.

«Кажется, двое», – сказал тот же бесстрастный голос по радиации.

Они видят! И Домового тоже видят.

Ещё через минуту, кажется, с некоторой даже ленцой, голос сообщил: «Продолжают движение».

«Наблюдайте», – ответили ему тут же.

Я не выдержал, поднялся и прошёл к длинному: надо было приказывать возвращаться нашим – и деду, и Домовому, – чего он ждал?

Длинный даже не повернулся в мою сторону, но неотрывно смотрел в темноту, словно видел там и деда, и тех, что по рации сообщались.

«Дед, поди...» – вдруг прозвучало по рации.

И сразу же, тот же голос: «Дед, я тебе бачу. Нет грибов тут, не ищи, дед. Вы нам, сука, насыпали, – минуту тебе даю, шоб схватися».

Дали, на самом деле, две минуты.

С той стороны начали шмалять, сначала из стрелкового, потом подключились штуки потяжелей. С этой стороны тоже пошла ответка, сразу поднялся адский грохот – но, в сущности, родной уже, душу греющий.

Я нашёл себе бойницу, секунд пятнадцать наблюдал, соображая, кто тут у нас где и примериваясь, чтоб вниз не пошло – а то прошью собственную разведку, – но дал две очереди, а Домовой уже за спиной образовался, смеётся, что-то руками показывает – понятно что: еле выползли...

Перестрелка длилась с полчаса, на голову сыпалось, в зубах скрипело, – думал при этом: «А в “Пушкине” бульон не доел...»

В образовавшееся затишье мы решили отправиться до дому. Извиняться за причинённые неудобства не стали: ушли, не прощаясь, – все здесь, вроде бы, оставались целы...

Перебегали, склоняя головы, по складским помещениям.

Я видел спину Графа, впереди Графа шёл Домовой.

Запомнил: Домовой уже шагнул в очередной, без дверей, проём, – и вдруг отпрянул назад, развернулся к нам, я рассмотрел даже его лицо. Домовой прижался спиной к стене, слева от проёма, успел маякнуть Графу, или Граф сам всё понял, уже когда Домовой выворачивал из проёма назад. Граф, сделав оборот на сто восемьдесят градусов, успел сгрести меня с зоны пролёта осколков – потому что я бежал ровно в проём, но, сбитый им, сменил траекторию и, тормозя коленом, проехал в угол помещения, а Граф, оказавшийся уже позади меня, левой рукой прихватил меня за бочину, чтоб я не клюнул головой в стену. Тайсон и без нас догадался, что к чему, куда ловчей меня приняв в сторону и присев на колено. Но самое удивительное, что всё это – движения, падения, рывки и перехваты – длилось в общей сложности не более секунды. В соседнее помещение попал заряд РПГ-9, оттуда в нашу сторону вылетел снап пыли, и Домовой тут же в эту пыль нырнул, и мы следом.

И это всё было такое быстрое, обыденное, почти не суетливое, никого и ничем не удивившее.

* * *

Мы приехали домой очень весёлые.

Домовой успел вкратце поведать, что у этого самого деда с нашим несчастным неприятелем отношения давно сложились весьма особенные: он главный переговорщик по великому количеству вопросов, украинского комбата, и не только, мог при желании по мобильному набрать; к тому же – половине Троицкого дед приходился сватом или дядькой, потому что сам происходил оттуда родом, и всё здесь знал назубок. Ну и его, как мы поняли, знали тоже.

Сидели потом, пили чай: с Графом друг напротив друга, а Тайсон от меня по правую руку, от Графа по левую, смотрел на нас; за спиной у него была кухонная плита, чайники, чашки, соль, сахар, всё положенное, – и, если что-то нам было нужно, он тут же, одним движением с полуоборота выхватывал: «Даю!» – и подавал.

Мне вообще эта манера нравилась – до Тайсона не сталкивался с подобным: чего бы не передал я ему, – на кухне, в машине, в окопе, – он говорит: «Беру!.. Взял!.. Даю!». Полезная привычка: во-первых, точно ничего не упадёт, во-вторых, структурирует пространство, – сразу

чувствуется, что порядок существует. Всё, что ты отдашь, – примут. Всё, что ты попросишь, – дадут. Бог есть. Над нами горит путеводная вифлеемская звезда.

Когда начался Майдан, Тайсон сидел в луганской тюрьме: за хранение и распространение. Потом началась война и принесла, помимо всего прочего, амнистию. В благодарность за дарованную свободу, или по каким-то ещё причинам, которые я не уточнял, Тайсон пошёл в ополчение.

Он был отличным, от природы, боксёром, – хотя занимался, конечно, понемножку, в перерывах между приводами по хулиганке, – с невероятной скоростью ухода и удара.

В батальон периодически приходил устраиваться какой-нибудь новый Тайсон – боец с тем же позывным; характерно, что ополченцы, назвавшие себя Али или Льюис, вообще не встречались, – а Тайсон, который Майк, воспринимался как наш, родной.

Но нашему Тайсону манера брать позывной, который он сам уже присвоил, казалась неприемлемой.

Бывало – является к Тайсону гонец и говорит: там, это, опять у тебя дублёр...

Тайсон – уже на ногах (только что лежал): «Номер комнаты?».

Заваливается туда без стука – в нём роста, напомним, при самом щедром пересчёте метр пятьдесят девять, – с порога интересуется: «Кто здесь Тайсон?» – кто-то нехотя, привставая с продавленной до пола (могучий вес) кровати, отвечает: «Ну, я...», – Тайсон подходит и говорит: «Тайсон – это я. Меняй позывной. Или пошли в спортзал, вставай».

У Тайсона был грубый, но, по моим меркам, обескураживающий юмор.

В личке у меня работал ещё Злой, тоже отменный типаж, – они вечно с Тайсоном сцеплялись языками. Мы как-то уехали в Новоазовск со Злым и зависли там, у самого синего моря. Тайсон заскучал, звонит Злому: «Ну, чего, не откинул ещё копыта?» – Злой, с вызовом: «Отлично себя чувствую. Готовься к моему приезду», – Тайсон, обыденно: «Я уже нагадил в твою кровать». Злой: «Переляжешь в мою, а я в твою лягу». Тайсон, бесстрастным голосом: «В свою я тоже нагадил».

Как-то расспрашивал у Тайсона о родителях и друзьях. Оказалось, что отец с матерью в наличии; есть и друг – единственный, выросли в одном дворе, и Тайсон очень тепло о нём отзывался. «Не воюет?» – спросил я. «Да нет, это не его-о-о», – в своей симпатичной манере, с добродушно протянутой финальной гласной, ответил Тайсон. Я увидел в этом что-то щемяще христианское: получается так, что для Тайсона воевать – это его, умирать – его, калекой быть – тоже его, а у товарища – другая судьба, и всё в таком раскладе совершенно нормально: какие вообще могут быть разговоры.

Как они сошлись с Графом, я не понимал, да и не особенно пытался понять.

Графа я перетащил к себе в личку с должности командира взвода.

Он был отличный комвзвода, и Томичу было жалко его снимать с должности, – но что поделывать: прошу-то я.

Граф подкупил меня сразу же. В первую нашу зиму батальон подняли по тревоге – выдвигаться на одну из окраин Донецка, где случился прорыв; половина батальона стояла тогда на юге республики, я туда катался каждый день, другая понемногу прела на располаге; вечерами, естественно, отдельные экземпляры норовили нахлестаться – а чем ещё развлечься ополченцу.

Объявили тревогу, Граф встал на дверях и поставил взвод в курс: пьяные на построение не идут.

Сам знал, что датых во взводе двое – в ночи вернулись, он их слышал; оба здоровые: один с лося, другой поменьше.

Взвод повскакивал, оделся-обулся; эти двое тоже нороят в одичавшие ботинки забраться.

Который поменьше, предпринял попытку неприметно пройти первым.

– Куд-да-а? – сказал Граф, выхватил его, прятавшегося меж другими ополченцами, развернул и ладошкой в затылок указал возвратный путь на место.

Тот не понял, сделал вторую попытку прорыва, получил прямой в грудь, осел, его сдвинули с прохода, он так и сидел, даже заснул – не успел ещё протрезветь.

Настал черёд того, что с лося размером.

В Графе было за сто кг мышц и скорости, но этот был килограммов на тридцать больше, и выше на голову.

Граф поискал глазами: табуретка не понравилась своей хлипкостью, тумбочка громоздкостью; заметил кусок трубы, вроде от батареи – но благополучно обмотанной с одного конца поролоном. Взял в руки за холодный конец, стал на выходе.

Я торопился мимо, – но сразу всё понял; спрашиваю:

– Не убьёшь?

– Да не, – спокойно ответил Граф.

Лось как раз пошёл в атаку, несомый не столько ногами в незашнурованных берцах, сколько инерцией веса. Удар был точен, в равной степени бережлив и беспощаден: так бывает.

Отец Графа был станичным атаманом большого посёлка. Воспитывал сурово.

Поймал Графа за картами – малолетний сын играл на деньги, деньги стащил из-под хлебницы, – заставил съесть всю колоду, целиком, без воды.

Ту же шутку повторил с сигаретами (двенадцатилетний сын закурил): нравятся сигареты? Ешь.

На первой же сигарете вырвало: фильтр оказался невкусным.

Мать же, признался Граф как-то, за всё детство ни разу его не позвала, не обняла, в лоб не поцеловала; немецкая порода, что ли, не пойму.

Граф, думал я, глядя на него, был в детстве падкий на ласку, теплолюбивый, – и угодил к таким родителям. Господь с ним в какую-то свою игру забавлялся, лепил из белобрысого мальчугана что-то нужное себе.

Всё детство у Графа – в работе.

Рассказывает: «Трёх быков в шесть утра выводил – цепью обмотаюсь, иначе никак: то одному травки, то другой собаки испугался, – не соберёшь потом».

Сила была в нём огромная; в батальоне, из двухсот восьмидесяти человек, он за соперников считал одного-двух; на остальных смотрел, как взрослые смотрят на детей лет десяти: всегда можно за ухо взять, ухо скрутить.

«Бык побежал однажды, цепь вокруг ноги закрутилась... Сто метров по траве на спине. Волшебно».

Так и сказал: «Волшебно». Другой бы малоцензурным словом определил ощущения, но Граф ругался мало.

Граф унаследовал от отца взрывной характер.

Случай был: Граф вёл быка, бык сковырнул соседский забор, выбежал сосед, дал юному Графу по зубам, пошла кровь.

Дома отец увидел: «Кто?».

Граф не сказал, но отец догадался (сосед был пьяный, орал там в соседнем дворе за свой забор). Отец говорит: «Пойдём».

С ноги открыл дверь в чужой двор; сосед уже бежал навстречу, в руке топор. Граф остановился, отец нет – твёрдым шагом навстречу. Сосед замахнулся топором – получил прямой в зубы, жуткой силы, упал и замер: потерял сознание, зубы, память, топор.

Отец ушёл из семьи, когда Графу было шестнадцать лет. Жил неподалёку, с другой женщиной.

Граф занырнул в армию: стремился туда, хотел попасть; всю срочку дрался; службой остался доволен.

Вернулся из армии. Нашёл девушку, вроде хорошая. Оказалось: невинная.

Приняли решение, что пора. Выбрали день, время – у Графа дома, пока мать на работе.

Девушка: включи свет, я боюсь. Через минуту: выключи свет, я стесняюсь. Ещё через минуту: ты руки помыл? Граф: при чём тут руки?

Возились, возились, тут распахивается дверь в дом, входит товарищ, пьянущий, избитый к тому же. Граф забыл дверь запереть – всё-таки сам немного волновался: не каждый день...

В тёмной прихожей острым углом ко входу стоял шкаф. Друг с разлёту ударился об угол лбом, добив себя. Упал в прихожей, лежит.

Граф оставил девушку. Кровь случилась в этот день, но не её.

Облил друга водой. Друг: «Граф, родной, меня избили – надо пойти разобраться». Друзья часто заходили к Графу в поисках немедленного восстановления справедливости.

Открывшись, друг опять вырубился. Подружка тем временем оделась, молча перешагнула через друга, вышла, больше никогда не вернулась, отдала невинность другому.

Граф бросил на друга мокрое полотенце, пошёл разбираться, – весь в отца.

Примерно понял, кто это. Явился в соседний двор: так и есть – они, четверо, одна девка. Начал бить троих, девка впуталась, ей тоже попало. Всех победил.

Вернулся домой – друг ушёл, как и не было. Эта – тоже мне – даже кровать не застелила.

Сел на кровать, пощёлкал выключателем. Свет, тьма, свет, тьма.

Битая девка, которая с тремя была, сняла побои и написала заявление.

Граф посоветовался со знающими людьми – ему говорят: тоже сними, их же трое было, с ней даже четверо, – чего на тебе ни царапины? Оцарапайся и сними побои.

Граф недолго думая пошёл в бар, там какие-то неприятные люди пьют пиво; в баре всегда есть неприятные люди, надо только присмотреться.

Сейчас неприятные люди его побьют, и можно будет снять побои.

Граф взял пиво и, проходя с этой кружкой, задел кого-то плечом, ему говорят: «Ты, блять, слепой?» – вроде достаточно, да?

Кружка была в правой, Граф левой зарядил вопрошавшему. Пиво в правой руке даже не расплескалось. Вопрошавший упал. Друзья вопрошавшего говорят: э, брат, всё нормально – извини его.

Вот что за день?..

Допил пиво, пошёл на улицу. До вечера искал: чтоб человек десять было, меньше – не резон. Нашёл-таки, сидят – зверьё, а не дети, только и ждут чтоб кого-то загрызть. Попросил мелочь – так они дали. Попросил закурить – снова дали. Как сговорились. Всю пачку сигарет в карман положил – смотрят, кривятся, но сидят на месте. Пока ботинки не попросил одного снять – терпели. Потом набросились – ну, еле-еле, кое-как, оставили побои.

Граф пошёл сдал свои побои, очень довольный. Потом, на другой день, вернулся к этим десятерым. Потом пересчитал. Нет, девять. Их было девять. Двое убежали, осталось семь. На семь голосов просили прощения, как птицы весенние.

Один из них служил в нашем батальоне, рассказывал мне эти истории. Граф слушал очень серьёзно, иногда поправлял.

Когда начался Майдан, отец Графа воспрял. Выступал на казачьем кругу, зажигая казаков, призывал их не посрамить честь казацкую.

Когда Майдан закончился, и пришла война, полетели самолёты, загрохотали танки, – отец сказал: «Кто-то должен остаться живым»; собрал вещи, жену, малое дитя, нажитое в новой семье, уехал в Россию.

Граф пошёл на войну. Из всей казачьей станицы – до двухсот казаков – воевать пошли семь человек.

Граф был воспитан в казачьих традициях, на казачью вольность едва не молился, но, сколько я ни слышал его разговоров с ополченцами, за казака себя не выдавал ни разу.

Граф служил в разведке, в спецназе, снайпером, пулемётчиком, в охране Плотницкого и ещё где-то: четыре года – не шутка.

Ходил в такую разведку боем, где оставалось пять из пятидесяти, и всех мёртвых он знал по именам. (Думаю: как потом эти имена складировать, где их использовать? Когда тебе нет и четверти века, а у тебя своё кладбище – размером со взлётку.)

Как-то прикинул прожитое Графом – и понял, что это, в сущности, вся его жизнь после детства: армия, короткая передышка и война – в целом шесть лет, а ему двадцать четыре. До этого были быки, первая пачка сигарет, первая колода карт. А, школа ещё. Четыре раза перечитывал «Тихий Дон».

Он иногда сочинял несколько четверостиший, вдавливая буквы в маленький блокнот, читал мне вслух; там была одна отличная строчка, я забыл её, но точно была; я пытался объяснить ему, что такое стихи: что это не слова, и даже не мысль, и не рассказ, – и вообще не смысл, – а только угодивший в силочку дух, который вырвался и улетел, но разноцветные перья кружат.

Тогда как раз, помню, в публичном пространстве объявилась одна участница Майдана, поэтесса, некоторое время собиравшая гуманитарку для тербатов нашего несчастного неприятеля, – но посмотревшая на войну в упор, и неожиданно очнувшись, и сказавшая вслух: «Люди! Украинцы! Мы не правы!»

Она была первой, и по сей день единственной раскаявшейся из тысяч и тысяч других, которые и не думали каяться, и не сделают этого никогда.

Я был счастлив её явлению; оно давало шанс на то, что смертоубийство обретёт однажды завершение.

Спросил у Графа, что он по этому поводу думает. Граф тут же ответил: «Хорошо, конечно».

Объяснил почему: посёлок, откуда он родом, – мы, ополченцы, так и не освободили. До посёлка оставалось пять километров от линии соприкосновения – и уже три с половиной года эти пять километров мы не в состоянии были пройти.

В посёлке половина одноклассниц Графа пережилась на понаехавших западенцах из тербатов; а ещё множество казаков, не приняв ни чьей стороны, живут как ни в чём не бывало; а ещё с десятков-другой старшекласников поначалу бегали туда-сюда с жовто-блакитными флагами, рисовали трезубцы в соцсетях, а потом – ничего, остыли, успокоились.

И Граф говорит: «...всё, что я хочу, – вернуться в деревню и, надев медали, по форме, пройтись по улице, медленно, вразвалочку – мимо всех окон, – чтоб сидели и думали: ой, не зайдёт ли к нам. Не зайду. Но пусть видят...»

«А так – что, расстреливать их всех?» – пожал Граф плечами.

Меня удивляло: множество взволнованных и рассерженных в России людей именно эту сорокакилограммовую поэтессу из Киева с заячьими зубками избрали виновницей всего случившегося здесь, – и шли суровой толпой – папахи набок – срывать её московские поэтические выступления на пятнадцать зрителей.

Граф говорил:

– Меня, знаешь, – после этих четырёх лет и трёх контузий – иногда клинит, – он моргал, будто смагивая что-то. – Но я не пойму, – удивлялся Граф, – а с чего их заклинивает, там, в Москве?

В ту ночь мы допили чай, или что там было, чай с коньяком, и я пошёл спать.

Засыпая, вдруг вспомнил эту пару в ресторане «Пушкин» – которую видел около полудня, а потом вечером, но, казалось, уже неделю назад: такой большой получился день.

Они пару раз смотрели на меня: сначала парень, потом девушка.

Думали, наверное, про нас так: «...сидят, отдыхают – а потом будут девкам о своих подвигах рассказывать...»

Вообще здесь часто так бывало: сидим в кафе, смеёмся, сидим, смеёмся, ещё сидим, снова смеёмся, – потом вдруг вскочили, запрыгнули в машину, исчезли из пределов видимости, – вдалеке где-то постреляли, погубили кого-то, наверное, – лучше, если нет, но могли и погубить, – потом вернулись, туда же уселись, где сидели, на те же места, можно было бы иной раз даже чайник с чаем не менять: «А подлей ещё кипяточку...» – и опять сидим.

Такая война странная.

Хотите, можете войной это не называть, мне всё равно.

* * *

Из России позвонил товарищ, музыкант: «Захар, короче, это... я приеду?»

Слово «короче» произносят, чтоб сделать фразу длиннее.

– Да, Дима, конечно, мы тебя очень ждём.

Этот парень, взявший сценический псевдоним в честь голубоглазой собаки, последний год кочевал с обложки на обложку гляцевых журналов. Он совершил невозможное – принудил недостижимый гламурный мир принять себя, не взирая на то, что в каждом третьем интервью говорил: «...хочу всё бросить и уехать в батальон к Захару».

Его звали Хаски.

В журналах кривились, вздыхали, – но это всё лишь добавляло шарма к его образу: бурятский сыр с гнильцой; он был из Бурятии, мать у него была русская, бабушка бурятская, отец армянский – какой-то букет там сложился, – мне вообще везёт на таких товарищей; когда Хаски уже приехал, пошли в баню, сидим в парилке: Араб, Граф, Тайсон, Злой, Хаски, – заговорили про русское, про своё, про родное, – я их оглядел и захохотал: вот же нерусь, поналезли к нам в русский мир.

– Да, да, да, мы поналезли, – Хаски в своей манере кивал, что-то в этом было от движений красивого животного, кивающего при ходьбе головой: лошадь, только маленькая и хищная – бывают такие? Нет? Пусть будет кусачий жеребёнок.

Я знал его лет, скажем, семь, восемь, девять – давно; знал его, когда он не дал ещё ни одного концерта, – а теперь давал сто пятьдесят в год.

А тогда он прислал мне свои песни, рэп, сразу весь первый альбом, который слышало кроме меня десять человек, или тысяча, – я не знаю сколько; но по нынешним меркам – его никто не знал: ни один журнал о нём не писал, ни один музыкальный критик не направлял на него лорнет, а на сетевую группу о нём было подписано тридцать человек.

Я послушал и говорю: приезжай ко мне в гости, попозже ты будешь гений.

Тогда ещё не было никакой войны, тогда ещё был мир.

Он только явился из Улан-Удэ в столицу, только начал учиться в высшем учебном. Он очень любил своё Улан-Удэ, но рассказывал: мне было пятнадцать, и я понял, что умру здесь, если не сдвинусь с места; и вот, законченный троечник, оторви и выбрось, – за год натаскал себя на ЕГЭ, и получил все положенные баллы, и поступил в МГУ.

В Москве Дима нашёл отца, которого никогда не видел, но если ты не видел отца двадцать лет, то никакая химия не срабатывает: все нейроны, электроны, синхрофазотроны отмирают и осыпаются, электричество не проходит: раскрываешь рот, говоришь «Папа», – а вместо волшебного слова – яичная скорлупа: внутри никто не живёт, птенец убежал, не подышишь на его жёлтую пшеничную спинку, не отразишься в мизерном испуганном глазке.

Дима устроился в подпольную фирму, где сочинял аннотации для порнофильмов: о, эта работа, она сложна и опасна; я бы ещё подумал, прежде чем браться за такое.

Оказывается, у порнофильмов есть краткое содержание, и с ним, боги мои боги, знакомятся заинтересованные люди: «Так, о чём тут?.. Университетская вечеринка... Ага... Нет, банально, плоско, скучно... А это про что?»

Димка записал ещё один альбом, который снова никому не был нужен, как и первый, но если в первом были две поразительные песни, то во втором все оказались обескураживающе хороши.

Мир юных – мир насекомых: они, привставая на задние лапки, пошевеливая усиками, слышат одним им понятные шевеления воздуха, мельчайшие дуновения, беззвучное электрическое потрескивание; когда Хаски сделал третий альбом, они тут же его опознали, поползли к нему всеми своими бесчисленными насекомыми лапками, вращая усиками, глядя неморгающими глазами кузнечиков: к своему верховному кузнецу.

С юности я знал добрую сотню музыкантов, пил с ними, подпевал им, радовался им – но здесь сложился единственный случай, когда вертикальный взлёт вверх случился у меня на глазах.

Чувствовалась таинственная тень чуда, его касание: в огромной России читали рэп сотни подростков, там была конкуренция как в муравейнике, – одного муравья было не отличить от другого, все шли друг за другом одной муравьиной тропкой, только, в отличие от муравьёв, соревнуясь в том или ином уродстве, которое культивировали в себе: голос должен быть такой, словно тебя во младенчестве поместили в глиняный сосуд, и ты говорил только внутрь сосуда, или словно у тебя вырезали гланды, а пришили гирлянды, или словно ты носитель словаря, где нет шипящих и свистящих, или, напротив, свистят и шипят все буквы, даже гласные.

Как среди сонма неотличимых возможно стать заметным, первым, воспарившим посреди этого картавого паноптикума, этой выставки живорождённых мутантов, объясняющихся взмахами пятипалых, сросшихся перепонками конечностей?

Это было задание, это был сценарий, написанный не известным мне сценаристом.

Я любопытствовал к Хаски.

Приехал встретить его на Успенку – контрольно-пропускной пункт. Димка, так совпало, ровно в эту минуту подал документы в окошечко.

Мы наметили с ним лёгкое полуобъятие, ударившись плечами: обниматься можно со здоровыми, мясными, мышечными мужиками, тогда это имеет смысл, – а он выглядел как ребёнок. Лицо его и телосложение были негритянского типа – напоминал он, скажем, бегуна, но бегуна чем-то заболевшего, с отсутствующим здоровьем, сидящего на обезболивающих, – тонкого, ломкого; на северном ветре побелевшего.

Лицо его, если присмотреться, оказывалось очень красивым; но только если присмотреться. А если мельком увидеть – почти пугающим, странным.

Совершенно декадентский, по нашим меркам, был у него видок. Рукава кофты свисали, колени трико свисали, внутри одежды мог поместиться кто-нибудь ещё.

Но в том и заключался парадокс, что все наши рэп-музыканты, косящие под гопарей или воистину ими являвшиеся, подчёркивавшие всяким своим жестом и самым своим небритым, медленно цедающим суровые слова, как бы всегда усталым видом природное, земное происхождение, – донбасских дорожек избежали. Эти пацаны жили ровно – и ровно обошли Донбасс стороной.

Для начала – тут стреляли. Кроме того, происходящее здесь слишком густо было завалено на патриотизме, а гопари – как вольный слепок с блатарей – государства не любят. Наконец, заезд в Донецк мешал мягкому вращению в шоу-бизе, где таких вещей не прощали, и могли вытолкнуть с палубы, на которую таких стараний стоило взобраться.

И они сюда не явились, а этот декадент, этот кусачий жеребёнок, этот выродок, вообще на русского не похожий, с вечно печальными глазами, изящным срезом скул, ордынской обрывочной чёрно-рыжей щетиной, – явился.

Я объяснял себе так: ему было нужно пространство, где он чувствовал себя совсем человеком, – здесь он чувствовал себя совсем человеком.

Хаски вёл себя с удивительным достоинством, – в сущности, несмотря на некоторое своё нарочитое внешнее упадочничество и некоторое даже юродство, он возрос в городской среде, знал её законы, был там своим; бойцы его приняли.

Я никак его не развлекал: оставил на доме, доверив его второй смене лички – Злому и Шаману; и уехал по своим делам, распевая по дороге, его, Димкино: «...знай, в подъезде безопасно как у Господа во рту», – я почему-то всегда пел эту строчку так: «...знай, в подъезде безопасно как у Господа в аду».

Потому что – в аду безопасно, Господь присмотрит, это его епархия, он там за главного распорядителя – без его ведома ни один волос не упадёт, внутренний орган не лопнет, глаз не выгорит.

На полпути развернулся: вызвал к себе на дом Батя.

* * *

Глава заседал с Ташкентом и Казаком, разминая одну тему; позже её сосватают мне, прицепив моё авторство, – но это не так, мне чужого не надо, у меня своих идей хватает.

Компания из трёх Саш устроилась за столом в гостевой, а младший из сыновей Захарченко ползал под этим столом. Он был единственным ребёнком от второй жены, но имелись ещё старшие сыновья от первой – они учились в соседней северной стране.

Мне нравилось, как Батя общался со своим дитём: вкладываясь в сына, имея с ним общий язык и ряд отработанных обрядов. У сына, помимо прочего, на полу лежало оружие, по-моему, даже не муляжи, – единственно что не заряженное, – и тот в свои – сколько там, три годика? – ловко с ним обращался.

Впрочем, через десять минут сына забрала няня. Больше я никогда его не видел.

Потом думал: а он запомнил отца? Хоть что-то? Один из обрядов хотя бы: когда с какой-то игровой короткой фразой отец подкидывал его на шею, причём сын не садился, свесив ножки, а вставал, как бы находясь теперь на корабле, на палубе, и пошатывался там, замерев: вот это запомнил? – как было высоко?

Я бы мог рассказать ему.

Но кому я буду рассказывать, о ком? Будет ли к тому времени эта данность, этот субъект истории, этот пароход, эта улица, этот памятник – «Александр Захарченко», – или сын к своим, скажем, четырнадцати годам привыкнет, что его фамилия никому ни о чём не говорит... вроде был такой полковник (московский однофамилец), который украл целую квартиру денег, – то есть, у него «трёшка» в Москве была битком набита пятидесятичными купюрами, дверь открываешь – а они, как из переполненного шкафа, ворохом, с мягким шумом, высыплются, – мимо поднимаются старушка, собачка, – собачка трогает купюры носом, – новые, пахнут краской, ёлкой, счастьем, – старушка подслеповато смотрит, ничего не поймёт, – сконфузившийся хозяин квартиры говорит виновато: «Только переехал... ещё не расставил вещи... бардак».

«Вот этот самый Захарченко?!» – спросят у сына раз, два, три.

«Нет, другой», – ответит в первый раз.

«А ещё есть какой-то?» – переспросят.

Нет, никакого нет.

Сын перестанет отвечать на эти вопросы.

У отца не хватило сил остаться живым после смерти.

Но по всем качествам – да просто глядя в его удивительные голубые глаза – должно было хватить, с избытком, чтоб и кое-кого из нас подтащить, зацепившихся.

Может быть, у нас кончилась память, оборвалась связь, что-то навек заклинило, – и мы больше никуда не поплывём на волнах, как её, ностальгии. Раньше была история – мелькали

имена, как шары в Господних руках, – глаза замирали от восторга: Ермак, Козьма Минин, Стенька Разин, батька Махно, Чапаев, Котовский, Ковпак, – свои донские Гарибальди, свои днепровские Че Гевары, – а потом хлоп! – обрыв линии. Раньше народ мог триста лет из уст в уста передавать былинку про богатыря, сказ про князюшку, песню про атамана, – а теперь информация живёт три месяца; потом скукожится в три дня, следом в три часа, – съел таблетку, испытал короткую эмоцию, – всё, до следующей таблетки свободен, у вас прогулка, пациент, развейтесь; и помните: вы живёте в эпоху информации. Раньше все были глупые, теперь вырос ты – умный. Нового человека будут звать хомо амнезикус.

И ведь даже сегодня мы древних греков откуда-то помним, а на вчерашний день обернёмся – никого не узнаём.

Но как же запомнили древних греков? Они совершали точно такие же поступки, и жили сорок своих смешных лет. Потом кровоточили на своём острие, выдувая пузырь ртом, – пузырь взрывался, – а мы до сих пор отираем кровь с лица, смотрим на ладонь: красная, – и по-прежнему жалеем македонца или спартанца.

Что поменялось? Что?

...В общем, Саша, который Казак, говорит: «Захар, мы тебя позвали как умного человека, который говорит умные вещи, – и, обращаясь к первым лицам республики, вполне серьёзно пояснил, как будто они видели меня впервые: – А Захар всегда говорит умные вещи».

Идея новой Малороссии появилась, как я понял, с подачи Ташкента, расписывал идею по деталям – Казак; вот он – умный, это его работа: быть умным.

Согласно идее, Донецк объявлял о создании нового государства: Малороссии, и себя назначал её столицей, в силу того, что Киев теперь нелегитимен.

Малороссией раньше называли всю Украину.

Я сказал, что это забавно. Сказал, что я за любую замуту.

Меня спросили: а что Москва? Как посмотрит Москва?

Я пожал плечами: да какая разница? Это весело. Надо, чтоб всегда было весело.

Захарченко сказал: «Так».

Он никогда не был политиком, и не стал бы им – потому что любил, когда весело. А настоящие политики любят, когда правильно. Им бы газоны стричь.

– Что там у тебя на позициях? – спросил Батя.

– Одиннадцать двухсотых подтверждённых. Но должно быть больше.

– Молодцы, – сказал он.

– Мы за позициями напротив наблюдаем: они их оставили. Ушли в интернат.

(На окраине Троицкого, в отдалении от него, стоял бывший интернат: огромное, укреплённое здание.)

– Берите его нахер, – сказал Глава.

(Или «сносите его нахер»? – я вышел и через минуту забыл глагол; до сих пор не вспомнил.)

Понятно было, что корпус утомлял Захарченко тем, что слишком ориентируется на Москву, и все эти – не-мира-не-войны – соглашения ему давно обрыдли: мечталось хоть о метре, хоть о километре своей земли.

Я не сказал: «Так точно».

Я сказал:

– Хорошо. Спасибо.

Вообще – мы могли. И взять, и снести. Мы к этому готовились.

Мне нужно было взять хоть один дом на Донбассе. Чтоб вернуться сюда потом и сказать: этот дом взял наш батальон.

С бойцами поднимал эту тему. Вижу: сидит Глюк – в юношах за год до войны был чемпионом Украины по боксу, широкий, тяжёлый, кажущийся – так бывает с очень хорошими

боксёрами – медленным; с ним Саран – невысокий, хваткий, опасно гуттаперчевый, боевой тип, дерзкий до хамовитости, но, если с ним нормально, добрый малый; и Док – командир их роты, похожий одновременно на православного святого и на буддистского монаха, шестидесяти лет – а гибким умным телом лет будто на тридцать моложе; возраст выдаёт только голова: совершенно белый бобрик.

– Мирные, – печалюсь, – там. Как бы их предупредить... – хотя знал, что никак не предупредишь, и, если начнём долбить по интернату, густо полетит в посёлок: случатся убитые и покалеченные.

Ещё можно его брать лобовой атакой: положить половину батальона и не взять.

Глюк посмотрел на меня и, хмыкнув, отвечает:

– Сталин говорил: люди, оставшиеся на оккупированной территории, – либо коллаборационисты, либо предатели.

Док только головой качнул, и добрыми глазами посмотрел на меня, ещё раз качнул головой и ничего не сказал. Саран же согласно отхлебнул очень крепкого чая: соглашаться можно не только поддакивая, но и отпивая чай.

Они все трое были местные – и Док, и Саран, и Глюк, – и эти мрачные шутки были им позволительны; но я бы не стал таким образом шутить.

Нежелание даже случайно губить гражданское население было частью нашей общей правоты. Лишать себя правоты не хотелось.

Но хотелось зайти в тот дом, на который я полгода смотрел в бинокль.

Посмотреть, что там за обстановка, как люди обжились.

В конце концов, они тоже на меня смотрели полгода; тоже, наверное, хотели как-то ближе сойтись, по-приятельски, крепко.

* * *

Рассказал об устном приказе Томичу и Арабу; разложили карту, хотя они и так всё знали наизусть.

По совести говоря, смысла в этой операции не было никакого, кроме символического.

Нет, если развивать наступление, то был бы, – но кто б нам, одному батальону, дал развить наступление. Положим, корпусных соседей слева и справа мы предупредили б, и они б нас прикрыли – такие варианты с ними обсуждались. Допустим, мы зачистили бы сам посёлок – там ничего серьёзного у нашего несчастного неприятеля не стояло. Но за Троицким, дальше, – боже мой, чего там только не было: отведённая арта, танки, прочая железная техника, ждавшая своего часа.

Они бы, конечно, вынесли нас из Троицкого, и всё Троицкое раскатали бы.

Но это бы они сделали, а не мы.

Мы бы снова отошли в интернат – если б от него что-то осталось после того, как он был взят, – но интернат они всё равно достаточно скоро разобрали б, и нам пришлось бы вернуться туда, где мы стоим сейчас.

Но это если далеко вперёд заглядывать, – а так далеко заглядывать не стоит, потому что там всё равно одно и то же, как ни подползай, как ни отползай. Как в детской потешке: «В ямку – бух!».

В конце концов, с этим домом могло как угодно пойти; надо было шатать ситуацию, пока Донбасс не окаменел окончательно в своих отвоёванных границах; оставалось совсем мало сил на то, чтоб пошевелиться, перевернуться на другой бок, распахнуть руки, обнять кого-нибудь.

Помимо всего прочего, на проведение подобных мероприятий у нас имелись личные причины.

...Здесь придётся открутить назад – даже дальше того дня, когда мне довелось явиться к обмёрзшему батальону в непрогретую «Прагу».

Впервые меня затащил к Захарченко его советник – Саша Казак. На тот момент – а это 15-й год, и ещё две тысячи лет от Рождества, – я полтора года крутил круги на Донбассе.

Одновременно работал военкором, поставщиком гуманитарки пострадавшим, и не только гуманитарки, и не только пострадавшим, – тогда ещё границы были дырявые, и я завозил, закатывал, закидывал в республики то, за что меня самого могли закатать.

У Томича был отдельный – в составе бригады – разведвзвод в Луганске, который я курировал, кормил, одевал, обувал.

Я всё собирался перебраться к Томичу во взвод, хоть на рядовую должность, но всё это выглядело нелепо: Томич давал понять – нам не нужен ещё один боец, нам нужны иные масштабы; Луганск уже не даёт расширяться – а надо расти вширь, надо работать на перспективу: ведь наступление случится неизбежно – мы все верили в наступление, – и что нам с этим взводом делать тогда? «Придумай что-нибудь другое, Захар».

Я смотрел по сторонам, с кем-то встречался, поджидал случая; случай сам пришёл.

Казака в своё время пригнали на Донбасс из кремлёвских кабинетов как специалиста широкого политического профиля – проследить за первыми донецкими выборами, дать совет, много советов вчерашним шахтёрам, вчерашним рискованным предпринимателям, вчерашним маргиналам пыльных, паутиной поросших, интеллектуальных клубов, – вдруг получившим в управление целую страну.

Казак своё отработал на выборах – получилось отлично, – можно было возвращаться в северное Отечество; но он понравился Захарченко, и тот предложил ему остаться.

Шаг за шагом Казак отвязывался от кремлёвских своих кураторов – и со временем зарплату начал получать только в Донецке. Казаку из России намекали, что он вообще может домой не вернуться, – там всё больше раздражала его донецкая самостоятельность. Но Казак заболел идеей свободного Донбасса. Нормальным людям сложно отказаться, когда можно раскрутить невиданную карусель и самому на ней прокатиться.

Казак был славный, искренний; Главу обожал; в республиканских кабинетах поставил себя так, что его слушали и слушались; Глава доверял ему безоговорочно.

О том, что Казак уже не имеет никакого отношения к отдельным кремлёвским кабинетам, мы молчали: это ударило бы по его позициям, и по Главе тоже, и даже по мне, – мы все делали вид, что у нас московская «крыша». Спасибо Москве хотя бы на том, что она не сказала, ткнув в нас пальцем: это самозванцы.

Казак познакомил меня с Главой. У Казака были свои резоны – самый главный, думаю, был прост: ему нужны были свои люди рядом с Главой, чтоб удваивать свой голос в случае необходимости; он же был совершенно пришлый, Казак, – если б против него стали собираться донецкие, ему и опереться, оглянуться было б не на кого, – а тут я, а меня уже знали здесь многие, и я кое-кого знал.

Расчёт едва не слетел в первый же день: поначалу я выбесил Захарченко. «Казак, кого ты мне привёл?» – говорил весь его вид. У Захарченко страшно болела нога, простреленная в Дебальцево, от боли он не переставая курил, лежал под капельницей, снова курил.

Тут я ещё торчу.

Но чёрт знает, что ему во мне понравилось... Казак, упрямый, мягким таким упрямством, свёл нас раз, и два, и три, – на четвёртый я прибыл в Донецк по своим делам, но Казак сказал про мой заезд Захарченко, тот вдруг: «Зови его скорей!» – я подъехал, – Батя увидел, обнял меня, говорит (я ошалел): «Брат, так рад тебя видеть!»

Мы щедро выпили в тот вечер; за столом сидели и Ташкент, и Трамп, и министр обороны, и всякое прочее начальство; мы о чём-то заспорили, я высказал своё веское, – меня начальство

не пугает, я его не стесняюсь, – Батя, я видел, очень внимательно слушал, – продолжил и добил, доразвил сказанное мной, – и впроброс:

– Захар, ты где ночуешь сегодня?

– У Казака.

– Ко мне поедешь, ты сегодня мой гость.

Я коротко кивнул, опустив скромный взгляд в тарелку, и сразу же почувствовал, как все глаза быстро смерили меня: кто это? С чего это к нему так?

Так Глава познакомил меня сразу со всеми руководителями республики. Он был тот ещё византиец.

Когда начали расходиться, Глава ничего не забыл, кивнул мне: «В мою машину садись». Мы приехали в три ночи, по дороге он сказал, что в девять утра выезд на передок, – нет, лучше в 8:30, – заехали сразу в гараж под домом, из гаража поднялись по внутреннему лифту, – охрана меня даже не видела. Дома выпили ещё по рюмке – он был аномально устойчив к алкоголю, и всё ещё оставался трезвым, – я тоже держался, хотя и с трудом; лёг спать, никак не рефлексировав о происходящем: куда всё это меня вывезет. Встал в 7:45, – я был тогда ещё, естественно, по гражданке: чёрные джинсы, чёрный плащ, – умылся, и выхожу в нижний дворик на воздух.

Наверху стоит охранник из лички, с оружием, весь заряженный, нахохленный: видимо, утренняя смена только-только заступила. Смотрит на меня беспощадным взглядом, и его можно понять: из дома Главы заявляется бритый наголо, совершенно неизвестный ему человек, весь в чёрном.

– Закурить есть? – спросил я снизу.

Он молчал, ничего не выражая лицом.

В принципе, можно было б в меня выстрелить; а смысл?

Со стороны это выглядело – только в ту секунду осознал, – будто бы я сделал своё чёрное дело, и вышел на белый свет совершенно равнодушный к своему будущему: покурить бы напоследок, и растворите меня в серной кислоте.

Я поднялся из нижнего дворика по каменной лесенке и пошёл, через дорожку, к домику охраны: по запаху было слышно, что они там готовят кофе и уже размешивают сахар в крупных чашках.

Открыл к ним дверь: дайте, говорю, кофе, и ещё покурить.

Они тоже залипли, но через пять секунд попробовали сообразить:

– Ты с Главой приехал ночью? – спросили аккуратно.

Я пожевал ртом – они мне на вопросы не отвечают, чего мне им рассказывать про свою жизнь.

– Иди, – говорят, – на кухню в дом, там всё есть.

(Раз ты его гость, пусть он тебя кофе и угощает; мы не знаем, как с тобой обходиться, кто ты такой.)

На кухне уже был Глава: бодрый, розовый – как и не пил вчера. Мы опрокинули по кофейку.

Неделей или двумя позже сидели в клубах дыма у него за столом, и я впервые говорил Захарченко о том, что он и сам без меня знал, но тем не менее – слушал: нас, говорил я, загоняют, нас стреножат, – но, пока мы ещё в силах, надо выпутаться, навязать свою игру.

– Вообрази, Бать, пройдёт десять лет, – мы сидим, – вот с тобой, и Казак рядом, – где мы можем сидеть? – в Абхазии, например, и ты сам, ты сам говоришь: а помнишь, зимой пятнадцатого, или зимой шестнадцатого, – ведь были все возможности поломать игру, вбросить свою карту...

Он посматривал на меня, ничего не отвечал, но взгляд был внимательный.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.